

ТЭФФИ

Ведьма



Надежда Тэффи

Ведьма (сборник)

«Public Domain»

Тэффи Н.

Ведьма (сборник) / Н. Тэффи — «Public Domain»,

В книгу вошли рассказы из многих авторских сборников: «Юмористические рассказы», «Неживой зверь», «Ведьма» и других.

Содержание

Выслужился	5
Проворство рук	9
Кокаин	12
Звонари	15
Свой человек	18
В стерео-фото-кине-мато-скопо-био-фоно и проч. – графе	20
Модный адвокат	22
Веселая вечеринка	25
I	25
II	26
III	27
IV	28
V	30
VI	31
Даровой конь	32
Взамен политики	34
Три правды	36
Переоценка ценностей	39
Политика воспитывает	41
Семья разговляется	43
Нянькина сказка про кобылью голову	46
Страшный ужас	49
Сокровище земли	52
За стеной	55
Демоническая женщина	60
Концерт	62
Катенька	66
Политика и наука	68
Утешитель	71
Когда рак свистнул	73
Морские сигналы	76
Репетитор	78
Из весеннего дневника	81
Забытый путь	84
Анна степановна	90
Публика	91
Карьера Сципиона Африканского	94
Конец ознакомительного фрагмента.	97

Надежда Тэффи

Ведьма (сборник)

Выслужился

У Лешки давно затекла правая нога, но он не смел переменить позу и жадно прислушивался. В коридорчике было совсем темно, и через узкую щель приотворенной двери виднелся только ярко освещенный кусок стены над кухонной плитой. На стене колебался большой темный круг, увенчанный двумя рогами. Лешка догадался, что круг этот не что иное, как тень от головы его тетки с торчащими вверх концами платка.

Тетка пришла навестить Лешку, которого только неделю тому назад определила в «мальчишки для комнатных услуг», и вела теперь серьезные переговоры с протезировавшей ей кухаркой. Переговоры носили характер неприятно-тревожный, тетка сильно волновалась, и рога на стене круто поднимались и опускались, словно какой-то невиданный зверь бодал своих невидимых противников.

Разговор велся полным голосом, но на патетических местах падал до шепота, громкого и свистящего.

Предполагалось, что Лешка моет в передней калоши. Но, как известно, человек предполагает, а бог располагает, и Лешка с тряпкой в руках подслушивал за дверью.

– Я с самого начала поняла, что он растяпа, – пела сдобным голосом кухарка. – Сколько раз говорю ему: коли ты, парень, не дурак, держись на глазах. Хошь дела не делай, а на глазах держись. Потому – Дуняшка оттирает. А он и ухом не ведет. Давеча опять барыня кричала – в печке не помешал и с головешкой закрыл.

Рога на стене волнуются, и тетка стонет, как эолова арфа:

– Куда же я с ним денусь? Мавра Семеновна! Сапоги ему купила, не пито, не едено, пять рублей отдала. За куртку за переделку портной, не пито, не едено, шесть гривен содрал...

– Не иначе как домой отослать.

– Милая! Дорога-то, не пито, не едено, четыре рубля, милая!

Лешка, забыв всякие предосторожности, вздыхает за дверью. Ему домой не хочется. Отец обещал, что спустит с него семь шкур, а Лешка знает по опыту, как это неприятно.

– Так ведь выть-то еще рано, – снова поет кухарка. – Пока что никто его не гонит. Барыня только пригрозила... А жилец, Петр Дмитрич-то, очень заступается. Прямо горой за Лешку. Полно вам, говорит, Марья Васильевна, он, говорит, не дурак, Лешка-то. Он, говорит, форменный аде-от, его и ругать нечего. Прямо-таки горой за Лешку.

– Ну, дай ему бог...

– А уж у нас, что жилец скажет, то и свято. Потому человек он начитанный, платит аккуратно...

– А и Дуняшка хороша! – закрутила тетка рогами. – Не пойму я такого народа – на мальчишку ябеду пущать...

– Истинно! Истинно. Давеча говорю ей: «Иди двери отвори, Дуняша», – ласково, как по добром. Так она мне как фыркнет в морду: «Я, грит, вам не швейцар, отворяйте сами!» А я ей тут все и выпела. Как двери отворять, так ты, говорю, не швейцар, а как с дворником на лестнице целоваться, так это ты все швейцар...

– Господи помилуй! С этих лет до всего дошпионивши. Девка молодая, жить бы да жить. Одного жалованья, не пить, не...

– Мне что? Я ей прямо сказала: как двери открывать, так это ты не швейцар. Она, вишь, не швейцар! А как от дворника подарки принимать, так это она швейцар. Да жильцову помаду...

Трррр... – затрещал электрический звонок.

– Лешка-а! Лешка-а! – закричала кухарка. – Ах ты, провались ты! Дуняшу услали, а он и ухом не ведет.

Лешка затаил дыхание, прижался к стене и тихо стоял, пока, сердито гремя крахмальными юбками, не проплыла мимо него разгневанная кухарка.

«Нет, дудки, – думал Лешка, – в деревню не поеду. Я парень не дурак, я захочу, так живо выслужусь. Меня не затрешь, не таковский».

И, выждав возвращения кухарки, он решительными шагами направился в комнаты.

«Будь, грит, на глазах. А на каких я глазах буду, когда никого никогда дома нет».

Он прошел в переднюю. Эге! Пальто висит – жилец дома.

Он кинулся на кухню и, вырвав у оторопевшей кухарки кочергу, помчался снова в комнаты, быстро распахнул дверь в помещение жильца и пошел мешать в печке.

Жилец сидел не один. С ним была молоденькая дама, в жакете и под вуалью. Оба вздрогнули и выпрямились, когда вошел Лешка.

«Я парень не дурак, – думал Лешка, тыча кочергой в горящие дрова. – Я те глаза намо-золью. Я те не дармоед – я все при деле, все при деле!..»

Дрова трещали, кочерга гремела, искры летели во все стороны. Жилец и дама напряженно молчали. Наконец Лешка направился к выходу, но у самой двери остановился и стал озабоченно рассматривать влажное пятно на полу, затем перевел глаза на гостыни ноги и, увидев на них калоши, укоризненно покачал головой.

– Вот, – сказал он с упреком, – наследили! А потом хозяйка меня ругать будет.

Гостья вспыхнула и растерянно посмотрела на жильца.

– Ладно, ладно, иди уж, – смущенно успокаивал тот. И Лешка ушел, но ненадолго. Он отыскал тряпку и вернулся вытирать пол.

Жильца с гостей он застал молчаливо склоненными над столом и погруженными в созерцание скатерти.

«Ишь, устались, – подумал Лешка, – должно быть, пятно заметили. Думают, я не понимаю! Нашли дурака! Я все понимаю. Я как лошадь работаю!»

И, подойдя к задумчивой парочке, он старательно вытер скатерть под самым носом у жильца.

– Ты чего? – испугался тот.

– Как чего? Мне без своего глазу никак нельзя. Дуняшка, косой черт, только ябеду знает, а за порядком глядеть она не швейцар... Дворника на лестнице...

– Пошел вон! Идиот!

Но молоденькая дама испуганно схватила жильца за руку и заговорила что-то шепотом.

– Поймет... – расслышал Лешка, – прислуга... сплетни...

У дамы выступили слезы смущения на глазах, и она дрожащим голосом сказала Лешке:

– Ничего, ничего, мальчик... Вы можете не затворять двери, когда пойдете...

Жилец презрительно усмехнулся и пожал плечами.

Лешка ушел, но, дойдя до передней, вспомнил, что дама просила не запирасть двери, и, вернувшись, открыл ее.

Жилец, как пуля, отскочил от своей дамы.

«Чудак, – думал Лешка, уходя. – В комнате светло, а он пугается!»

Лешка прошел в переднюю, посмотрелся в зеркало, померил жильцову шапку. Потом прошел в темную столовую и поскреб ногтями дверцу буфета.

– Ишь, черт несоленый! Ты тут целый день, как лошадь, работай, а она знай только шкаф запирает.

Решил идти снова помешать в печке. Дверь в комнату жильца оказалась опять закрытой. Лешка удивился, однако вошел.

Жилец сидел спокойно рядом с дамой, но галстук у него был на боку, и посмотрел он на Лешку таким взглядом, что тот только языком прищелкнул:

«Что смотришь-то! Сам знаю, что не дармоед, сложа руки не сижу».

Уголья размешаны, и Лешка уходит, пригрозив, что скоро вернется закрывать печку. Тихий полустон-полувздых был ему ответом.

Лешка пошел и затосковал: никакой работы больше не придумаешь. Заглянул в барынину спальню. Там было тихо-тихо. Лампадка теплилась перед образом. Пахло духами. Лешка влез на стул, долго рассматривал граненую розовую лампадку, истово перекрестился, затем окунул в нее палец и помаслил надо лбом волосы. Потом подошел к туалетному столу и перенюхал по очереди все флаконы.

– Э, да что тут! Сколько ни работай, коли не на глазах, ни во что не считают. Хоть лоб прошиби.

Он грустно побрел в переднюю. В полутемной гостиной что-то пискнуло под его ногами, затем колыхнулась снизу портьера, за ней другая...

«Кошка! – сообразил он. – Ишь-ишь, опять к жильцу в комнату, опять барыня взбесится, как намедни. Шалишь!..»

Радостный и оживленный вбежал он в заветную комнату.

– Я те, проклятая! Я те покажу шляться! Я те морду-то на хвост выверну!..

На жильце лица не было.

– Ты с ума сошел, идиот несчастный! – закричал он. – Кого ты ругаешь?

– Ей, подлой, только дай поблажку, так после и не выживешь, – старался Лешка. – Ею в комнаты пускать нельзя! От ей только скандал!..

Дама дрожащими руками поправляла съехавшую на затылок шляпку.

– Он какой-то сумасшедший, этот мальчик, – испуганно и смущенно шептала она.

– Брысь, проклятая! – И Лешка наконец, к всеобщему успокоению, выволок кошку из-под дивана.

– Господи, – взмолился жилец, – да уйдешь ли ты отсюда наконец?

– Ишь, проклятая, царапается! Ею нельзя в комнатах держать. Она вчера в гостиной под портьерой...

И Лешка длинно и подробно, не утаивая ни одной мелочи, не жалея огня и красок, описал пораженным слушателям все непорядочное поведение ужасной кошки.

Рассказ его был выслушан молча. Дама нагнулась и все время искала что-то под столом, а жилец, как-то странно надавливая Лешкино плечо, вытеснил рассказчика из комнаты и приотворил дверь.

– Я парень смысленный, – шептал Лешка, выпуская кошку на черную лестницу. – Смысленный и работага. Пойду теперь печку закрывать.

На этот раз жилец не услышал Лешкиных шагов: он стоял перед дамой на коленях и, низко-низко склонив голову к ее ножкам, замер, не двигаясь. А дама закрыла глаза и все лицо съежила, будто на солнце смотрит...

«Что он там делает? – удивился Лешка. – Словно пуговицу на ейном башмаке жует! Не... видно, обронил что-нибудь. Пойду поищу...»

Он подошел и так быстро нагнулся, что внезапно воспрянувший жилец пребольно стукнул ему лбом прямо в бровь.

Дама вскочила вся растерянная. Лешка полез под стул, обшарил под столом и встал, разводя руками.

– Ничего там нету.

– Что ты ищешь? Чего тебе, наконец, от нас нужно? – крикнул жилец неестественно тоненьким голосом и весь покраснел.

– Я думал, обронили что-нибудь... Опять еще пропадет, как брошка у той барыни, у черненькой, что к вам чай пить ходит... Третьего дня, как уходила, я, грит, Леша, брошку потеряла, – обратился он прямо к даме, которая вдруг стала слушать его очень внимательно, даже рот открыла, а глаза у нее стали совсем круглые.

– Ну, я пошел да за ширмой на столике и нашел. А вчерась опять брошку забыла, да не я убирал, а Дуняшка, – вот и брошке, стало быть, конец...

– Так это правда! – странным голосом вскрикнула вдруг дама и схватила жильца за рукав. – Так это правда! Правда!

– Ей-богу, правда, – успокаивал ее Лешка. – Дуняшка сперла, косой черт. Кабы не я, она бы все покрала. Я как лошадь все убираю... ей-богу, как собака...

Но его не слушали. Дама скоро-скоро побежала в переднюю. Жилец за ней, и оба скрылись за входной дверью.

Лешка пошел в кухню, где, укладываясь спать в старый сундук без верха, с загадочным видом сказал кухарке:

– Завтра косому черту крышка.

– Ну-у! – радостно удивилась та. – Рази что говорили?

– Уж коли я говорю, стало, знаю.

На другой день Лешку выгнали.

Проворство рук

В дверях маленького деревянного балаганчика, в котором по воскресеньям танцевала и разыгрывала благотворительные спектакли местная молодежь, красовалась длинная красная афиша.

«Специально проездом, по желанию публики, сеанс грандиознейшего факира из черной и белой магии.

Поразительнейшие фокусы, как-то: сжигание платка на глазах, добывание серебряного рубля из носа почтеннейшей публики и прочее вопреки природе».

Из бокового окошечка выглядывала голова и печально продавала билеты.

Дождь шел с утра. Деревья сада вокруг балаганчика намокли, набухли, обливаясь серым мелким дождем покорно и не отряхиваясь.

У самого входа пузырилась и булькала большая лужа. Билетов было продано только на три рубля.

Стало темнеть.

Печальная голова вздохнула, скрылась, и из дверей вылез маленький облезлый господин неопределенного возраста.

Придерживая двумя руками пальто у ворота, он задрал голову и оглядел небо со всех сторон.

– Ни одной дыры. Все серо. В Тимашове прогар, в Щиграх прогар, в Дмитриеве прогар, в Обояни прогар, в Курске прогар... А где не прогар? Где, я спрашиваю, не прогар? Судье почетный билет послан, голове послан, господину исправнику... всем послано. Пойду лампы заправлять.

Он бросил взгляд на афишу и оторваться не мог.

– Чего им еще нужно? Нарыв на голове, что ли?

К восьми часам стали собираться.

На почетные места или никто не приходил, или посылали прислугу. На стоячие места пришли какие-то пьяные и стали сразу грозить, что потребуют деньги обратно.

К половине девятого выяснилось, что больше никто не придет.

А те, кто сидели все так громко и определенно ругались, что оттягивать дальше было просто опасно.

Фокусник натянул длинный сюртук, с каждой гастролью становившийся все шире, вздохнул, перекрестился, взял коробку с таинственными принадлежностями и вышел на сцену.

Несколько секунд он стоял молча и думал:

«Сбор четыре рубля, керосин шесть гривен – это еще ничего, а помещение восемь рублей, так это уже чего. Головин сын на почетном месте – пусть себе. Но как я уеду и на что буду кушать, это я вас спрашиваю! И почему пусто? Я бы сам валил толпой на такую программу».

– Бррравво... – заорал один из пьяных.

Фокусник очнулся. Зажег на столе свечку и сказал:

– Уважаемая публика, позволяю предпослать вам предисловие. То, что вы увидите здесь, не есть что-либо чудесное или колдовство, что противно нашей православной религии и даже запрещено полицией, этого на свете даже совсем и не бывает. Нет. Далеко не так. То, что вы здесь увидите, есть не что иное, как проворство и ловкость рук. Даю вам честное слово, что никакого колдовства здесь не будет. Сейчас вы увидите появление крутого яйца в совершенно пустом платке.

Он порылся в коробке и вынул свернутый в комочек пестрый платок. Руки его слегка тряслись.

– Извольте убедиться, что платок совершенно пуст. Вот я его встряхиваю.

Он встряхнул платок и растянул руками. «С утра одна булочка в копейку и стакан чаю без сахара, а завтра что?» – думал он.

– Можете убедиться, что никакого яйца здесь нет.

Публика зашевелилась. Кто-то фыркнул. Вдруг один из пьяных загудел:

– Вр-решь, вот яйцо.

– Где, что? – растерялся фокусник.

– А к платку на веревочке привязал.

– С той стороны, – закричали голоса. – На свечке просвечивает.

Смущенный фокусник повернул платок. Действительно, на шнурке висело яйцо.

– Эх ты! – заговорил кто-то уже дружелюбно. – Тебе бы за свечку зайти, вот и незаметно было бы. А ты вперед залез. Так, братец, нельзя.

Фокусник был бледен и криво улыбался.

– Это, действительно, – говорил он. – Я, впрочем, предупреждал, что это не колдовство, а только проворство рук. Извините, господа. – Голос у него пресекся и задрожал.

– Ладно, да ладно!

– Нечего тут!

– Валяй дальше!

– Теперь приступим к следующему поразительному явлению, которое покажется вам еще удивительней. Пусть кто-нибудь из почтеннейшей публики одолжит мне свой носовой платок.

Публика стеснялась.

Многие было уже вынули, но, посмотрев внимательно, поспешно спрятали обратно.

Тогда фокусник подошел к сыну городского головы и протянул свою дрожащую руку.

– Я бы, конечно, взял и свой платок, так как это совершенно безопасно, но вы можете подумать, что я что-нибудь подменил.

Сын головы дал свой платок, и фокусник развернул его и встряхнул.

– Прошу убедиться, совершенно целый платок.

Сын головы гордо осмотрел публику.

– Теперь глядите. Этот платок стал волшебным. Теперь я свертываю его трубочкой, подношу к свечке и зажигаю. Горит. Отгорел весь угол. Видите?

Публика вытягивает шею.

– Верно, – кричит пьяный, – паленым пахнет.

– А теперь я сосчитаю до трех, и платок будет опять целым. Раз, два, три! Извольте убедиться.

Он гордо и ловко расправил платок.

– А-ах...

– А-ах, – ахнула и публика.

Посреди платка зияла огромная паленая дыра.

– Однако, – сказал сын головы и засопел носом. Фокусник прижал платок к груди и вдруг заплакал.

– Господа... Почтеннейшая пуб... Сбору никакого... Дождь с утра... куда ни попаду, везде... с утра... не ел... не ел... на булку копейку.

– Да ведь мы ничего, бог с тобой! – кричала публика.

– Рази мы звери? Господь с тобой!

Но фокусник всхлипывал и вытирал нос волшебным платком.

– Четыре рублябору... помещение – восемь рублей... во-о-о-о... воо-оо-о...

Какая-то баба всхлипнула.

– Да полно тебе, о господи! Душу выворотил, – кричали кругом.

В дверь просунулась голова в клеенчатом капюшоне:

– Эт-то что? Расходись по домам!

Все и без того встали. Вышли. Захлопали по лужам. Молчали, вздыхали.

– А что я вам, братцы, скажу! – вдруг ясно и звонко сказал один из пьяных.

Все даже приостановились.

– А что я вам скажу! Ведь подлец народ нонече пошел. Он с тебя деньги сдерет и тебе же душу выворотит. А?

– Вздуть! – ухнул кто-то во мгле.

– Именно, что вздуть. Айда! Кто со мной? Раз, два, три! Ну, марш... Безо всякой совести народ... Я тоже деньги платил не краденые... Ну, мы уж те покажем! Жжива...

Кокаин

Шелков и сердился, и смеялся, и убеждал – ничто не помогало. Актриса Моретти, поддерживаемая своей подругой Сонечкой, упорно долбила одно и то же.

– Никогда не поверим, – пищала Сонечка.

– Чтобы вы, такой испорченный человек, да вдруг не пробовали кокаину!

– Да честное же слово! Клянусь вам! Никогда!

– Сам клянется, а у самого глаза смеются!

– Слушайте, Шелков, – решительно запищала Сонечка и даже взяла Шелкова за рукав. – Слушайте – мы все равно отсюда не уйдем, пока вы не дадите нам понюхать кокаину.

– Не уйдете? – не на шутку испугался Шелков. – Ну это, знаете, действительно жестоко с вашей стороны. Да с чего вы взяли, что у меня эта мерзость есть?

– Сам говорит «мерзость», а сам улыбается. Нечего! Нечего!

– Да кто же вам сказал?

– Да мне вот Сонечка сказала, – честно ответила актриса.

– Вы? – выпучил на Сонечку глаза Шелков.

– Ну да, я! Что же тут особенного? Раз я вполне уверена, что у вас кокаин есть. Мы и решили прямо пойти к вам.

– Да, да. Она хотела сначала по телефону справиться, да я решила, что лучше прямо прийти, потребовать, да и все тут. По телефону вы бы, наверное, как-нибудь отвернулись, а теперь уж мы вас не выпустим.

Шелков развел руками, встал, походил по комнате.

– А знаете, что я придумал! Я непременно раздобуду для вас кокаина и сейчас же сообщу вам об этом по телефону или, еще лучше, прямо пошлю вам.

– Не пройдет! Не пройдет! – завизжали обе подруги. – Скажите какой ловкий! Это чтоб отделаться от нас! Да ни за что, ни за что мы не уйдем. Уж раз мы решили сегодня попробовать – мы своего добьемся.

Шелков задумался и вдруг улыбнулся, точно сообразил что-то. Потом подошел к Моретти, взял ее за руки и сказал искренне и нежно:

– Дорогая моя. Раз вы этого требуете – хорошо. Я вам дам попробовать кокаину. Но пока не поздно, одумайтесь.

– Ни за что! Ни за что!

– Мы не маленькие! Нечего за нас бояться.

– Во-первых, это разрушает организм. Во-вторых, вызывает ужасные галлюцинации, кошмары, ужасы, о которых потом страшно будет вспомнить.

– Ну вот еще, пустяки! Ничего мы не боимся.

– Ну, дорогие мои, – вздохнул Шелков, – я сделал все, что от меня зависело, чтобы отговорить вас. Теперь я умываю руки и слагаю с себя всякую ответственность!

Он решительными шагами пошел к себе в спальню, долго рылся в туалетном столе.

«Господи! Вот не везет-то! Хоть бы мелу кусочек, что ли, найти...»

Прошел в ванну. Там на полочке увидел две коробки. В одной оказался зубной порошок, в другой – борная. Призадумался.

«Попробуем сначала порошок».

Всыпал щепотку в бумажку.

– Он – дивный человек! – шептала в это время актриса Моретти своей подружке Сонечке. – Благородный и великодушный. Обрати внимание на его ресницы и на зубы.

– Ах, я уже давно на все обратила внимание.

Шелков вернулся мрачный и решительный. Молча посмотрел на подруг, и ему вдруг жалко стало хорошенького носика Моретти.

– Мы начнем с Сонечки, – решил он. – Кокаин у меня старый, может быть, уже выдохся. Пусть сначала одна из вас попробует, как он действует. Пожалуйста, Сонечка, вот прилягте в это кресло. Так. Теперь возьмите эту щепотку зубного... то есть кокаину – его так называют: «зубной кокаин», потому что... потому что он очень сильный. Ну-с, спокойно. Втягивайте в себя. Глубже! Глубже!

Сонечка втянула, ахнула, чихнула и вскочила на ноги.

– Ай! Отчего так холодно в носу? Точно мята!

Шелков покачал головой сочувственно и печально:

– Да, у многих начинается именно с этого ощущения. Сидите спокойно.

– Не могу! Прямо нос пухнет.

– Ну вот. Я так и знал! Это начались галлюцинации. Сидите тихо. Ради бога – сидите тихо, закройте глаза и постарайтесь забыться, или я ни за что не ручаюсь.

Сонечка села, закрыла глаза и открыла рот. Лицо у нее было сосредоточенное и испуганное.

– Давайте же и мне скорее! – засуетилась актриса Моретти.

– Дорогая моя! Одумайтесь, пока не поздно. Посмотрите, что делается с Сонечкиным носом!

– Все равно, я иду на все! Раз я для этого пришла, уж я не отступлю.

Шелков вздохнул и пошел снова в ванну.

«Дам ей борной. И дезинфекция, и нос не вздуется».

– Дорогая моя, – сказал он, передавая актрисе порошок. – Помните, что я отговаривал вас.

Моретти втянула порошок, томно улыбнулась и закрыла глаза:

– О, какое блаженство...

– Блаженство? – удивился Шелков. – Кто бы подумал! Впрочем, это всегда бывает у очень нервных людей. Не волнуйтесь, это скоро пройдет.

– О, какое блаженство, – стонала Моретти. – Дорогой мой! Уведите меня в другую комнату... я не могу видеть, как Сонечка разинула рот... Это мне мешает забыться.

Шелков помог актрисе встать. Она еле держалась на ногах и если не упала, то только потому, что вовремя догадалась обвить шею Шелкова обеими руками.

Он опустил ее на маленький диванчик.

– О дорогой мой. Мне душно! Расстегните мне воротник... Ах! Я ведь почти ничего не сознаю из того, что я говорю... Ах, я ведь в обмороке. Нет, нет... обнимите меня покрепче... Мне чудится, будто мимо нас порхают какие-то птички и будто мимо нас цветут какие-то васильки... Здесь пуговицы, а не кнопки, они совсем просто расстегиваются. Ах... я ведь совсем ничего не сознаю.

Сонечка ушла домой, не дождавшись подруги, и оставила на столе записку:

«Спешу промыть нос. Нахожу, что нюхать кокаин – занятие действительно безнравственное. Соня».

На другое утро актриса Моретти пришла к Шелкову, решительная и официальная.

Шелков встретил ее светски вежливо и любезно:

– Очень рад, милый друг. Какими судьбами...

– Милостивый государь! – строго прервала его актриса. – Я пришла вам сказать, что вы поступили непорядочно.

– Что с вами, дорогой друг? – наивно поднял брови Шелков. – Я вас не понимаю.

– Не понимаете? – фыркнула Моретти. – Так я вам сейчас объясню! Вы поступили низко. Вы знали, какое действие производит кокаин на нервных женщин, и все-таки решились дать мне.

– Ах, милый друг, ведь я же вас предупреждал, что это пренеприятная штука. Вы же сами требовали.

– Да, но вы-то должны были вести себя иначе! Воспользоваться беспомощностью одурманенной женщины, так порядочные люди не поступают.

– Позвольте! Что вы говорите? – снова удивился Шелков. – Я ровно ничего не понимаю. Что я сделал? В чем вы упрекаете меня?

Моретти покраснела, замялась и продолжала уже другим тоном.

– Вы... целовали меня и... обнимали... Вы не имели на это никакого права, зная, что я в бессознательном состоянии. Так обращаться с порядочной женщиной без намерения на ней жениться – это подло! Да!

Шелков оторопел, посмотрел ей прямо в глаза и вдруг весь затрясся от смеха.

– Почему вы смеетесь? – краснея, чуть не плача, лепетала Моретти.

– Ах, дорогая моя! Уморили вы меня! Ну можно ли так пугать. Все ужасы, о которых вы сейчас рассказываете, не что иное, как галлюцинация! Самая обычная галлюцинация, вызванная кокаином.

Моретти притихла и испуганно смотрела на Шелкова.

– Вы думаете?

– Ну конечно! И чудачка же вы! Вы тут тихонько сидели на диванчике и бредили о каких-то поцелуях, не то пуговицах, я толком не разобрал, да, признаюсь, даже не считал порядочным вслушиваться. Мало ли что можно сказать в бреду. Посторонние не должны этого знать.

Моретти слушала с открытым ртом и, только уходя, приостановилась в дверях и смущенно спросила:

– А скажите... бывают от кокаина такие галлюцинации, когда человеку кажется, что он притворяется, что у него галлюцинация?

Шелков дружески хлопнул ее по плечу и сказал весело:

– Ну конечно! Сплошь и рядом! Это самый распространенный вид. Даже в науке известно. Можете справиться у любого профессора.

Моретти вздохнула, посмотрела внимательно в честное, открытое лицо Шелкова, закрыла рот и вышла задумчивая, но спокойная.

Звонари

Обещал дяденька приехать в субботу к вечеру, чтобы вместе потом разговляться, да разлив удержал, и поспел он только к четвертому дню праздника.

Приехал веселый.

Дом куропеевский встретил его радостно. Все двенадцать окон, что выходили на соборную площадь, сверкали на солнце свежевывмытыми стеклами, звенели, отражая колокольный звон, и празднично сквозили на них синепокрахмаленные занавески.

Забрал свои кульки, вылез из тарантаса.

Дернул за звонок. Еще и еще. Что-то долго не отпирали.

Высунулась девка, какая-то точно одурелая.

– Ась?

– Не ась, а здравствуйте.

– Ась?

– Ваши-то дома?

– Ась? Дома, дома. Пройдите в зальце.

Дяденька расчесал бороду. Вошел.

Навстречу ему выплыла сестрица Анна Егоровна с Нюточкой. У обеих уши завязаны, и из повязки вата торчит.

– Здравствуй, голубчик... – чмок-чмок, – воистину... Ась? Чего долго не ехал? Что? Чего?

– Да что вы – распростудились тут все, что ли?

– Чего? Ты громче говори. Да пойдем на ту сторону, ко мне в спальню. Там все-таки легче.

– А сам-то где? – спрашивал дяденька.

Но Анна Егоровна только шурилась, жмурилась и вела его по комнатам. Нюточка за ними.

Пришли в спальню.

Анна Егоровна развязала платок, вынула из ушей вату и паклю.

– О-ох! О-ох! Сам-то под периной, и две подушки сверху навалены. Иди, Нюточка. Рас-толкай папеньку.

– И где вас тут угораздило простудиться-то?

– О-ох! О-ох! И не простужены мы, а звон нас донял. Четверо суток с утра до вечера гудет! Везде на Святой любителям звонить разрешается, ну эдакого, как в нашем городе, – нигде нет. Сапожник Егоров и трубочист Гвоздев. Один гудит, другой очереди ждет. И как у них головы не треснут! Житья от них нет, хоть из дому беги!

Вышел хозяин.

– Христос воскрес! Да вот, братец, беда какая! И куда денешься? Не в трактире же мне, семейному человеку, сидеть прикажешь! Оглохли, как есть оглохли!

– А ты бы с ними поговорил, со звонарями-то с этими... Либо нажаловался бы куда.

– Да кому нажалуешься-то? Это их право. Я их, безобразников-то, уж два раза призывал. Раз по двугривенному дал, другой по полтиннику, чтобы передохнуть дали.

– Ну и что же?

– Ну и ничего. За двугривенный полчаса, действительно, помолчали, а за полтинник так будто назло еще громче растрезвонились. Мы Глашку к ним посылали. Так они ей велели сказать, что меньше как за восемь гривен и разговаривать не станут. Нам, говорят, не расчет. Мы, говорят, время упустим, а там опять жди целый год.

Дяденька подумал, почесал в бороде, усмехнулся и говорит:

– Неправильно вы за дело принялись, оттого у вас так и получается. Они – народ коммерческий, смекалистый. Вы ведь что? Вы, покупатели, тишину от них купить хотите. Вот они вам цену и нагоняют. Полтинник, восемь гривен. А там, глядишь, как насыдут хорошенько, так и по целковому отвалите. Неправильно вы дело поставили.

– А как же быть-то?

– Не тишину от них покупать надо, а звон...

– Да куда его, батюшка, помилосердствуй! И без того...

– Ничего вы не понимаете. Я вам за полтинник спокой куплю. Глашка! Зови сюда звонарей.

Через десять минут звонари стояли в прихожей. С черным носом Гвоздев. С красным – Егоров. Дяденька вышел к ним.

– Здорово, ребята! Это вы так расчудесно трезвоните?

Оба носа, и черный, и красный, обиженно фыркнули.

– Что же, что трезвоним?

– Мы в своих правах...

– Где ни доведись...

– И везде разрешено, а у вас вдруг не смей.

– И нигде этого не видано...

– Да что вы, братцы? – удивился дяденька. – Я вас что-то не пойму. Я вас поблагодарить позвал, потому как по соседству звоном вашим пользуюсь. Глаш-ка-а! Принеси водочки, звонарей наших любезных попотчевать. Люблю я, братцы, смерть люблю хороший благовест! Ну и звоните же вы, прямо как по нотам! Заслушаешься! Я и нашим говорю, что это, мол, вас только сначала так укачало, а вы, говорю, вслушайтесь как следует, так еще спасибо скажете. А что ж бы вы думали – сегодня сестрица-то говорит, – а и правда приятно звонят. А Гаврила Петрович так приказал завтра с утра окна раскрыть. Мне, говорит, особенно утром приятно.

Черный и красный носы засопели смущенно.

– Пусть дадут рупь, – хрюкнул черный, – за рупь могу и совсем бросить.

– Ежели по рублю... – просипел красный.

Дяденька удивился.

– Да что вы, голубчики, за что обижаете? Я вон в прошлом году пять целковых предлагал, охотника искал у себя в Мамадыше, чтобы хорошо звонил. Не нашлось. Тренькали, да без всякого ладу. Я, братцы, вам каждому полагаю по двугривенному в день. Звоните. Только чтобы как следует. Как один, значит, отзвонил, так другой сразу за веревку. Я не жмот, а денег даром платить не люблю.

Красный нос хлопнул. Черный поскобился коричневым ногтем.

– Не маловато ли будет, ваша милость?

– Поищите, кто вам больше даст.

– Обидно! А когда начинать-то?

– Сегодня и начинайте. За полдня получите по гривеннику.

– Ишь, какой ловкий! Мы теперь уставши, все утро звонили, хоть по пятиалтынному дай.

– Я, братцы, тоже деньги-то не сам печатаю. Не хотите, не надо. Наше вам с кисточкой.

Дяденька повернулся и вышел.

Весь вечер была тишина.

Куропеевы благодумствовали. Раскупорили уши, заказали пирог с налимом.

Утром начался благовест.

Но к трем часам неожиданно прекратился, звонари явились для переговоров.

– Воля твоя, обижаешь ты нас. Над нами вон и ребята смеются. За двугривенный работай для него весь день!

– Что ж, братцы, так договаривались.

- Темного человека обойти легко.
- Попробовал бы сам, коли так просто.
- Всю головушку за день-то разломит...
- Рука онемееет.
- Сказано – двугривенный. Не хотите – не надо.
- Эдак обижать. – Ушли.

Тишина. Благодать.

- Чего это и другие-то никто не звонит?

Вечером под колокольной завопили голоса. Драка. Это звонари, сторожившие колокольню, вздули какого-то любителя, хотевшего позвонить.

Никого не пускали.

- Живоглотову душу радовать не дадим.

Дежурили четыре дня с утра до позднего вечера. Никого не пустили и сами не звонили.

Когда дяденька уезжал восвояси, оба звонаря – и Егоров, и Гвоздев – подошли к крыльцу, подбоченившись.

- Что? Купил дешево? Повеселил душеньку?

– Что поделаешь, ребята, – подмигивал дяденька провожавшим хозяевам. – Ничего не попишешь! Надо бы мне сразу согласиться, а я вон поспешил, а потом заупрямился. Ну, сам себя, значит, наказал. На будущий год приеду, тогда сговоримся. Не поминайте лихом!

Свой человек

Федор Иванович получил на службе замечание и возвращался домой сильно не в духе. Чтобы отвести душу, стал нанимать извозчика от Гостиного двора на Петроградскую сторону за пятнадцать копеек.

Извозчик ответил коротко, но сильно. Завязалась интересная беседа, вся из различных пожеланий. Вдруг кто-то дернул Федора Ивановича за рукав. Он обернулся.

Перед ним стоял незнакомый худошавый брюнет с мрачно-оживленным лицом, какое бывает у человека, только что потерявшего кошелек, и быстро, но монотонно говорил:

– А мы таки уже здесь! Разве я хотел сюда ехать? Ну, а что я могу, когда она меня затащила? За паршивые пятьсот рублей, чтобы человека водили как барана на веревке, так это, я вам скажу, надо иметь отчаяние в голосе!

Федор Иванович сначала рассердился, потом удивился. «Кто такой? Чего лезет?»

– Извините, милостивый государь, – сказал он, – я не имею чести...

Но незнакомец не дал договорить.

– Ну, я уже вперед знаю, что вы скажете! Так я вам прямо скажу, что у вас я не мог остановиться, потому что вы мне не оставили своего адреса. Ну, у кого спросить? У Самуильсона? Так Самуильсон скажет, что он вас в глаза не видал.

– Никакого Самуильсона я не знаю, – отвечал Федор Иванович. – И прошу вас...

– Ну, так как вы хотите, чтобы он сказал мне ваш адрес, когда вы даже и незнакомы. А Манкина купила ковер, так они уже себе воображают... Ну что такое ковер? Я вас спрашиваю!

– Будьте добры, милостивый государь, – удосужился вставить Федор Иванович, – оставьте меня в покое!

Незнакомец посмотрел на него, вздохнул и заговорил по-прежнему быстро и монотонно:

– Ну, так я должен вам сказать, что я таки женился. Она такая рожа, на все Шавли! Говорили про нее, что глаз стеклянный, так это, нужно заметить, правда. Говорили, что имеет кривой бок, так это уж тоже правда. Еще говорили, что характер... Так это уж так верно! Вы скажете, когда же он успел жениться? Так я вам скажу, что уж давно. Дайте посчитать: сентябрь... октябрь... гм... ноябрь... да, ноябрь. Так я уже пять дней как женат. Два дня там страдал, да два дня в дороге... И кто виноват? Так вы удивитесь! Соловейчик!

Федор Иванович действительно как будто удивился. Рассказчик торжествовал.

– Соловейчик! Абрамсон мне говорил: «Чего вы не покупаете себе аптеку? Так вы купите аптеку». Ну, кто не хочет иметь аптеку? Я вас спрашиваю. Покажите мне дурака! А Соловейчик говорит: «Идемте к мадам Целковник, у нее дочка, так уж это дочка! Имеет приданого три тысячи. Будете иметь деньги на аптеку». Я так обрадовался... ну, думаю себе, пусть уж там, если уже все было худо, так может и еще немножко быть! Поехал себе в Могилев, стрелял в большую аптеку... Что вы смотрите? Ну, не совсем стрелял, а только себе целил. Присмотрел. А мадам Целковник денег не дает и дочку прячет. Дала себе паршивые пятьсот рублей задатку. Я взял. Кто не возьмет задатку? Я вас спрашиваю! Покажите мне дурака. А Шелькин повел меня к Хасиным, у них за дочкой пять тысяч настоящими деньгами. Хасины бал делают, гостей много... так интеллигентно танцуют. А Соловейчик выше всех скачет. Я себе думаю: возьму лучше пять тысяч и буду стрелять к Кар-функелю в аптеку по самой площади. Ну, так Соловейчик говорит: «Деньги? У Хасиных деньги? Пусть у меня так не будет денег, как у них!» Вы скажете, зачем я поверил Соловейчику? Ой! Вы же должны знать, что у него две лавки и кредит; это не мы с вами. Вельможа!! Ну, прямо сказать, он таки женился на мадамзель Хасиной, а я на Целковник.

Так она еще велела везти себя в Петроград на мой счет! Видели это? Ей-богу, это такая рожа, что прямо забыть не могу! Ходил сейчас по Большому, хотел стрелять в аптеку. Ну, что там! Вот встретил вас, так уж приятно, что свой человек.

– Да позвольте же, наконец! – взревел Федор Иванович. – Ведь мы же с вами незнакомы!

Жертва Соловейчика удивленно вскинула брови.

– Мы? Мы незнакомы? Ну, вы меня мертвецки удивляете! Позвольте! Позапрошлым летом ездили вы в Шавли? Ага! Ездили! Ходили с господином землемером лес смотреть? Ага! Так я вам скажу, что зашли вы к часовщику Магазинеру, а около двери один господин вам упредил, что Магазинер пошли кушать. Ну, так этот же господин был я, а! Ну?

В стерео-фото-кине-матоскопо-био-фоно и проч. – графе

– Пожалуйста, господин объяснитель, не перепутайте опять катушек, как в тот раз.

– Что такое в тот раз? Я вас не понимаю.

– А то, что на экране изображался Вильгельм и спуск броненосца, а вы валяли из естественной истории о какой-то там бабочкиной пыльце. Могут выйти крупные неприятности, не говоря уже о том, что платить даром деньги я не желаю. Вы – прекраснейший оратор, я не спорю, и великолепно знаете свое дело, но нужно иногда поглядывать и на экран.

– Я не могу становиться спиной к публике. Это болван машинист путает, – ему и говорите.

– Можете скосить глаза, чтоб было видно. Словом, будьте осмотрительнее. Пора начинать.

Дззз... – зашипел фонарь. Объяснитель откашлялся и, став спиной к экрану, подставил прямо к свету свое вдохновенное лицо.

– Милостивые государи и милостивые государыни! – начал он. – Перед вами почтеннейшая река Северной Америки, так называемая Амазонка, за пристрастие тамошних прекрасных дам к верховой езде. Амазонка катит свои величественные волны день и ночь, образуя водопады, истоки и притоки, под плеск которых совершаются различные события. Кусты, деревья, песок и прочие разнообразности природы окаймляют ее живописные берега.

Теперь один миг... И вот мы присутствуем при мрачных развалинах Колизея. Ужас охватывает члены и приковывает внимание. Здесь могущественный тиран демонстрировал свое жестокосердие. (Гм... меняй, что ли, не век же!...) Ну-с, теперь, как по мановению волшебного жезла, мы переносимся в дивную Грецию и останавливаемся перед статуей святой Киприды, поражающей уже много веков грацией осанки. (Ну?) А вот и почтеннейший город Венеция, превышающий своими красотами игру самого опытного соображения. Дззз...

Вот раскопки Помпеи. Труп собаки и двое влюбленных, поза которых доказывает изумленным зрителям, что наши предки умели так же любить, как и наши потомки. Дззз... (А? Отстаньте! Сам знаю.)

Теперь сделаем временное отступление в область естественной истории. Перед вами картина, которую можно наблюдать при помощи чудо-микроскопа, гордости двадцатого века. Он показывает мельчайшие, невидимые глазу анатомы, блоху величиною со слона и инфузорию в куске сыра. Много есть необъяснимого в природе, и люди, сами того не подозревая, носят целые миры под ногтем любого из своих пальцев.

Теперь взглянем на Везувий: что может быть величественнее этой извергающейся картины приро... (Что? А мне какое дело! Сам виноват. Не я катушки путал. Ставь следующую! О, черт!) Перед вами, милостивые государи, редкий экземпляр живородящей рыбы. Природа в своем щедром разнообра... (Зачем же Везувий, когда я начал про рыбу? Уж держи что-нибудь одно. Поправился! Я тебе поправлюсь!) Дым валит из грандиозного жерла в виде воронки и живописно вырисовывается на лазурной синеве южного неба. Еще одно мановение волшебного жезла (долго будешь копаться?)... и вот мы на берегу Неаполя, дивнейшего города в мире. Тысячу раз права пословица (не перебивай!), говорящая: «Кто не пил воды из Неаполя, тот не пил ничего». (Что? Ископаемое? Кто ж тебе велел! Меняй катушку, чтоб тебя!...) Прекрасны также окрестности этого уважаемого города. Вот перед нами Пигмалион, ожививший при помощи своего вдохновения (как свинья? Зачем свинья? Вечно лезете не в ту коробку! Отложите в сторону!) гм... дивную мраморную скульптуру, которую он собственноручно высек (опять! Да я же вам сказал, отложите в сторону! Вы думаете, что если покажете свинью хвостом

вперед, то это уже будет Пигмалион) из тончайшего мрамора. Есть много чудес природы, но чудеса искусства от этого не делаются хуже.

Дззз...

И вот второй образец дивного творчества неизвестных рук – досточтимая всеми Венера Милосская. Причислившая свою красоту к лику богов, она тем не менее обнаруживает стыдливость (так я же говорил... Зачем поправлять! Нужно прямо снять и отложить в сторону. Нельзя же свинью, когда я говорю о другой катушке!), что показывает скромность, присущую древним грекам даже на самых высоких ступенях общественной лестни... (а вы таки свое! Это прямо какой-то крест на моей жизни!) лестницы. А вот еще одно мгновение... от этой группы неизвестного резца мы перекидываемся в необъятную степь нашего великого и грозного оте... (если вы хотите показывать свою свинью двенадцать раз подряд, то лучше сделать антракт, потому что публика может потребовать деньги обратно. Каждый заплатил и имеет право потребовать. Я вам говорю, лучше погасите лампу. Что? Господин директор разберет – кто!). А теперь, милостивые государи и милостивые государыни, сделаем перерыв на десять минут, после которого снова пустимся в наши далекие странствования по белу свету, которые так развивают умственные способности и душевные свойства нашей натуры, несмотря на то, что мы свершаем их, сидя на комфортабельных стульях. (Болван! Вы, вы болван!) Итак, до свидания на острове Целебесе среди местных нравов и поражающей обстановки.

Модный адвокат

В этот день народу в суде было мало. Интересного заседания не предполагалось.

На скамьях за загородкой томились и вздыхали три молодых парня в косоворотках. В местах для публики – несколько студентов и барышень, в углу два репортера.

На очереди было дело Семена Рубашкина. Обвинялся он, как было сказано в протоколе, «за распространение волнующих слухов о роспуске первой Думы» в газетной статье.

Обвиняемый был уже в зале и гулял перед публикой с женой и тремя приятелями. Все были оживлены, немножко возбуждены необычностью обстановки, болтали и шутили.

– Хоть бы уж скорее начинали, – говорил Рубашкин, – голоден как собака.

– А отсюда мы прямо в «Вену» завтракать, – мечтала жена.

– Гм! га! га! Вот как запрячут его в тюрьму, вот вам и будет завтрак, – острили приятели.

– Уж лучше в Сибирь, – кокетничала жена, – на вечное поселение. Я тогда за другого замуж выйду.

Приятели дружно гоготали и хлопали Рубашкина по плечу.

В залу вошел плотный господин во фраке и, надменно кивнув обвиняемому, уселся за пюпитр и стал выбирать бумаги из своего портфеля.

– Это еще кто? – спросила жена.

– Да это мой адвокат.

– Адвокат? – удивились приятели. – Да ты с ума сошел! Для такого ерундового дела адвоката брать! Да это, батенька, курам на смех. Что он делать будет? Ему и говорить-то нечего! Суд прямо направит на прекращение.

– Да я, собственно говоря, и не собирался его приглашать. Он сам предложил свои услуги. И денег не берет. Мы, говорит, за такие дела из принципа беремся. Гонорар нас только оскорбляет. Ну я, конечно, настаивать не стал. За что же его оскорблять?

– Оскорблять нехорошо, – согласилась жена.

– А с другой стороны, чем он мне мешает? Ну, поболтает пять минут. А может быть, еще и пользу принесет. Кто их знает? Надумают еще там какой-нибудь штраф наложить, ан, он и уладит дело.

– Н-да, это действительно, – согласились приятели. Адвокат встал, расправил баки, нахмурил брови и подошел к Рубашкину.

– Я рассмотрел ваше дело, – сказал он и мрачно прибавил: – Мужайтесь.

Затем вернулся на свое место.

– Чудак! – прыснули приятели.

– Ч-черт, – озабоченно покачал головой Рубашкин. – Штрафом пахнет.

– Прошу встать! Суд идет! – крикнул судебный пристав. Обвиняемый сел за свою загородку и оттуда кивал жене и друзьям, улыбаясь сконфуженно и гордо, точно получил пошлый комплимент.

– Герой! – шепнул жене один из приятелей.

– Православный! – бодро отвечал между тем обвиняемый на вопрос председателя.

– Признаете ли вы себя автором статьи, подписанной инициалами С.Р.?

– Признаю.

– Что имеете еще сказать по этому делу?

– Ничего, – удивился Рубашкин. Но тут выскочил адвокат.

Лицо у него стало багровым, глаза выкатились, шея налилась. Казалось, будто он подавился бараньей костью.

– Господа судьи! – воскликнул он. – Да, это он перед вами, это Семен Рубашкин. Он автор статьи и распускатель слухов о роспуске первой Думы, статьи, подписанной только двумя

буквами, но эти буквы С. Р. Почему двумя, спросите вы. Почему не тремя, спрошу и я. Почему он, нежный и преданный сын, не поместил имени своего отца? Не потому ли, что ему нужны были только две буквы С. и Р.? Не является ли он представителем грозной и могущественной партии?

Господа судьи! Неужели вы допускаете мысль, что мой доверитель просто скромный газетный писака, обмолвившийся неудачной фразой в неудачной статье? Нет, господа судьи! Вы не вправе оскорбить его, который, может быть, представляет собой скрытую силу, так сказать, ядро, я сказал бы, эмоциональную сущность нашего великого революционного движения.

– Вина его ничтожна, – скажете вы. Нет! – воскликну я. – Нет! – запротестую я.

Председатель подозвал судебного пристава и попросил очистить зал от публики.

Адвокат отпил воды и продолжал:

– Вам нужны герои в белых папах! Вы не признаете скромных тружеников, которые не лезут вперед с криком «руки вверх!», но которые тайно и безыменно руководят могучим движением. А была ли белая папаха на предводителе ограбления московского банка? А была ли белая папаха на голове того, кто рыдал от радости в день убийства фон-дер... Впрочем, я уполномочен своим клиентом только в известных пределах. Но и в этих пределах я могу сделать многое.

Председатель попросил закрыть двери и удалить свидетелей.

– Вы думаете, что год тюрьмы сделает для вас кролика из этого льва?

Он повернулся и несколько мгновений указывал рукой на растерянное, вспотевшее лицо Рубашкина. Затем, сделав вид, что с трудом отрывается от величественного зрелища, продолжал:

– Нет! Никогда! Он сядет львом, а выйдет стоголавой гидрой! Он обовьет, как боа констриктор, ошеломленного врага своего, и кости административного произвола жалобно захрустят на его могучих зубах.

Сибирь ли уготовили вы для него? Но, господа судьи! Я ничего не скажу вам. Я спрошу у вас только: где находится Гершуни? Гершуни, сосланный вами в Сибирь?

И к чему? Разве тюрьма, ссылка, каторга, пытки (которые, кстати сказать, к моему доверителю почему-то не применялись), разве все эти ужасы могли бы вырвать из его гордых уст хоть слово признания или хоть одно из имен тысячи его сообщников?

Нет, не таков Семен Рубашкин! Он гордо взойдет на эшафот, он гордо отстранит своего палача и, сказав священнику: «Мне не нужно утешения!» – сам наденет петлю на свою гордую шею.

Господа судьи! Я уже вижу этот благородный образ на страницах «Былого», рядом с моей статьей о последних минутах этого великого борца, которого стоустая молва сделает легендарным героем русской революции.

Воскликну же и я его последние слова, которые он произнесет уже с мешком на голове: «Да сгинет гнусное...»

Председатель лишил защитника слова.

Защитник повиновался, прося только принять его заявление, что доверитель его, Семен Рубашкин, абсолютно отказывается подписать просьбу о помиловании.

Суд, не выходя для совещания, тут же переменял статью и приговорил мещанина Семена Рубашкина к лишению всех прав состояния и преданию смертной казни через повешение.

Подсудимого без чувств вынесли из зала заседания.

В буфете суда молодежь сделала адвокату шумную овацию.

Он приветливо улыбался, кланялся, пожимал руки.

Затем, закусив сосисками и выпив бокал пива, попросил судебного хроникера прислать ему корректуру защитительной речи.

– Не люблю опечаток, – сказал он.

В коридоре его остановил господин с перекошенным лицом и бледными губами. Это был один из приятелей Рубашкина.

– Неужели все кончено! Никакой надежды?

Адвокат мрачно усмехнулся.

– Что поделаешь! Кошмар русской действительности!..

Веселая вечеринка

I

Старуха Агафья успела уже убрать кухню и вычистить самовары, а Ванюшка-кучер все еще томился, ожидая возвращения барина.

– Скоро одиннадцать, – ворчала Агафья, вытирая толстые, обнаженные по локоть руки и глядя исподлобья на тоскующего парня. – Другой бы матери помог, коли время вышло, а мой только на вечерины ходить умеет да новые сапоги трепать. И в кого такой вышел! Ведь уродит же Господь!

Ванюшка молчал, хотя речь была направлена прямо против него, так как он как раз приходился Агафье родным сыном. Но ему было не до разговоров. Сегодня Танька, горничная земского начальника, устраивает бал. На балу будет только что выслуживший свой срок солдат Марковкин. Он хочет Таньку сватать, это все знают, но Ванюшка давно решил перешибить ему дорогу. Сегодня все выяснится. Отъедет солдат с поломанными ребрами!

Ванюшка мечтательно улыбается, разглядывая новые сапоги. Его белокурые волосы лоснятся от масла; под воротником голубой сатиновой рубашки красуется ярко-розовый муаровый бант, и это сочетание цветов во вкусе мадам Помпадур придает удивительно глупый вид его толстому, безусому и безбровому лицу.

– И куда пойдешь на ночь глядя? – ворчит мать, гремя посудой. – Угощение все равно уж все съедено. Теперь парни, верно, уж драться начали, только даром шею намнут. Раньше двенадцати барин от лесничего не вернется. Пока лошадь уберешь – вот и первый час.

Сын молча вздыхает.

– Чего молчишь-то? Ты вот ленту муаровую у матери выпросил, а ты думал ли, чего эта лента матери стоила? Я ее, может, к причастию надеть и то жалела, на смертное платье берегла. Барышня-покойница дарила, не знала, видно, что ты в ней на вечеринках, как лошадь, ржать будешь...

Снова молчаливый вздох.

– Думаешь, ленту напялил, так за тебя Танька замуж пойдет? Нет, парень! Не нашему носу рябину клевать – это ягода нежная! Марковкин-то почище тебя.

– Еще ничего не известно, – загадочно разинув рот, ухмыльнулся Ванюшка.

– Как неизвестно? – обрадовалась Агафья, что ей, наконец, удалось вызвать сына на приятную беседу. – Все отлично известно. Ничего у тебя нету, и в кучеренках-то тебя держат потому, что мать жалеют. Не век же мне тоже в кухарках быть. Скоро ноги протяну. Без меня дня не останешься.

II

Во дворе залаяла собака.

Ванюшка вскочил и, закутав горло шарфом, чтоб не слишком поразить хозяина своим стилем Помпадур, пошел убирать лошадь.

Через десять минут, бодро подскрипывая по твердому снежному насту, бежал он к дому земского начальника.

Маленький городок давно уже успокоился. Фонари не горели, так как по календарю полагалась луна, почему-то в этот день на небесное дежурство не явившаяся.

В окнах тоже было темно. Светился только верхний этаж городского клуба и трактир с надписью: «Для приезжаю» («щих» не поместилось).

Ванюшка пересек главную улицу и, свернув влево, юркнул в ворота маленького двухэтажного домика, занимаемого земским начальником.

– Ну, куда же теперь? Тут темно, не напороться бы на что... Не то у ней кухня наверху, не то внизу. Никогда не бывавши, тоже не сразу поймешь. Хоть бы вышел кто из парней...

Он повернул вправо и налез на какую-то обледенелую кадку. Прямо стена. Налево лестница. Входную дверь он, войдя, машинально захлопнул и теперь никак не мог сообразить, с которой стороны он вошел.

Медленно, ощупывая ступеньки руками и ногами, влез он во второй этаж. Здесь тоже оказалось темно, и он долго шарил руками, не находя дверей.

– Не! – решил он. – Кухня у ней внизу. Надо было там нащупать либо выйти и в окошко постучать.

И он, стуча каблуками, боком стал спускаться с лестницы. Он был уже почти в сенях, как вдруг страшный дикий крик, раздавшийся снизу, остановил его.

– Кто здесь! Стой, черт тебя возьми, не то я буду стрелять!..

Ошеломленный Ванюшка замер на одном месте. Послышалось шуршанье спичечной коробки. Вспыхнул огонек.

Мелькнуло испуганное свирепое лицо земского начальника.

– А-а, каналья! Попался! Я тебе покажу! Ты у меня узнаешь, где раки зимуют.

Ванюшка сделал отчаянный прыжок, пытаясь увернуться от могучих рук земского начальника, ловивших его впотьмах...

Бац! Бац! Одна рука крепко держит за шиворот голубую рубаху с помпадуровым галстуком, другая, сжавшись в кулак, дважды въехала в Ванюшкину физиономию.

– Нет, голубчик, теперь не уйдешь!

И, продолжая наколачивать своего пленника, спотыкаясь и кряхтя, он поволок его вверх по лестнице.

Ванюшка молча упирался, медленно подвигался вперед и отчаянно брыкался ногами.

III

Ступеньки трещали, каблуки звонко щелкали, и спавшей наверху супруге земского начальника почудилось, будто какая-то взбесившаяся лошадь лезет к ней по лестнице. Барыня зажгла свечку и, испуганно крестясь, сидела на кровати. Дверь в спальню с треском распахнулась.

– Машенька! Вот, рекомендую! – тяжело отдуваясь, торжествовал земский начальник.

Он поставил Ванюшку перед изумленной барыней, продолжая держать его за шиворот и изредка потряхивая.

– А хорош молодец? Возвращаюсь от лесничего, смотрю, ворота настежь. Подлые девки со своими балами совсем одурели, ни за чем не смотрят. Завтра всех к черту. Поднимаюсь по лестнице... здравствуйте! Лезет, голубчик! Я его подстерег, дал немножко спуститься, да цап за шиворот. У меня не отвертишься.

– Да ты осторожней, Коленька, может быть, у него нож, – пласиво затынула супруга.

Ванюшка, с перетянутым горлом, молчал, тяжело дыша, и только широко раскрывал рот, как рыба, которую лишили родной стихии.

– Да ведь я... – попробовал было он, но тяжелый кулак, въехав ему под самый глаз, снова отнял у него дар слова.

– Молчать! – заревел земский начальник. – Еще разговаривать! Благодарю бога, что я полицию не зову. Другой бы сгноил тебя в остроге. Марш отсюда! Чтоб духу твоего не было. И товарищам своим скажи, чтоб дорогу ко мне забыли.

И он снова собственноручно сволок Ванюшку с лестницы, вытурил на улицу и запер ворота на засов.

Оставшись один, Ванюшка пустился бежать без оглядки и только в конце улицы немножко опомнился и огляделся. Пиджак был разорван, из носу лила кровь, лицо горело и ныло. Ванюшка потер нос снегом и захныкал:

– И чего он взбесился, черт окаянный! Что человек не в ту дверь попал, так его по морде лупить? Нет, это, брат, тоже не показано! За это, брат, тоже ответить можно. Закона такого нету, чтоб народ зря калечить.

Но, вспомнив, что все равно теперь на вечеринку не попадешь – ворота заперты, да и в таком виде куда уж тут, Ванюшка снова захныкал и, грустно опустив голову, побрел домой.

IV

Двери отворила заспанная и сердитая Агафья.

– Что! Готово! Воротился! У него мать помирает, а он по балам, как лошадь, ржет. У матери поясницу ломит, а ему хоть бы что! Другой бы хоть колбасы кусок с гостей-то принес бы. Нате, мол, вам, мамаша, покушайте. Отец-то, покойник, бывало... – Она зажгла лампочку и, взглянув сыну в лицо, даже присела от изумления.

– Батюшки-светы! Родители вы мои долгоногие! Да кто же это тебя так? Тут уж, видно, не один, тут трое либо четверо работало! Эко тебя качает. Ну, и нахлестался! Да скажи хоть слово.

Но Ванюшка молча стянул с себя сапоги и, не раздеваясь, лег в постель.

На другой день он проснулся поздно. В печке трещали дрова, Агафья стучала ножом, а косоротая баба, разносившая по городу булки и сплетни, оживленно что-то рассказывала. Ванюшка, не вставая, стал прислушиваться.

– Они, видишь, девки-то, как пошли на вечерину, ворота-то, стало быть, и не заперли. Под вечерину-то у Картонихи комнату нанимали, земский-то в доме и не позволил.

– Ч-черт! – чуть не вскрикнул Ванюшка.

– Ну, стало быть, разбойнику-то это и на руку. Он наверх-то пролез, все до чистика обо-брал, только, значит, барыню собрался резать, а сам-то тут как тут!

«Ишь ты, – думает Ванюшка. – Это, видно, уж после меня кто-нибудь залез!»

– Господи помилуй! – шепчет Агафья. – И какой ноне отчаянный народ пошел!

– Ну, земский его колошматил, колошматил, однако тот вырвался и убежал.

– Уж верно, их где-нибудь целая шайка, запрятавшись, была. Один не пойдет, – додумалась Агафья.

– Земский Егорку-кучера и Таньку обоих вон выгнал. Ну, да ей что! Ее вчера за солдата Марковкина просватали...

Со стороны кровати послышался тихий вой.

– Это что же? – удивилась торговка.

– Ванюшка с перепою, – хладнокровно ответила Агафья.

– Разве уж так напился?

– И-и! И не видывала никогда таких пьяных. Что ни спросишь, молчит. Покойник муж, бывало, на четвереньках домой придет, а за словом в карман не полезет.

– А ты бы его керосинцем бы помазала.

– Нешто полегчает от керосину-то?

– Еще как! Старуха, Аннушкина мать, что у головихи в няньках, все керосином лечится. Не нахвалится. Как, говорит, натрусь да отхлебну маненько, так меня всю как огнем запалит. Прямо терпенья нет. Всякую боль отшибает. Ничего уж тут не почувствуешь. На Рождестве ее головиха чуть вон не выгнала за керосин-то. Потерлась это она (простудившись была) и сидит в кухне на печке. А головиха все ходит да принюхивается. Вошла в кухню, ну и поняла, в чем дело. Ругалась, ругалась! Вы меня, говорит, подлые, под кнуты подведете, я еще через вас Сибири нанюхаюсь. Упадет, говорит, на старуху спичка, ее как синь-порох взорвет. А я отвечай. Зверь – головиха-то.

– И как ему всю рожу разделали, – с плохо скрытой материнской гордостью говорит Агафья. – Это уж никто, как солдат. Я сразу солдатovu руку узнала. Губища – во! Прямо до полу свисла. Под глазом сивоподтек!

– Поди, по Таньке-то реветь будет, – не без злорадства вставляет торговка, Агафья иронически фыркает:

– Очень нужно! Важное кушанье Танька-то ваша! Персона! Только и умеет, что господские тарелки лизать. Мой парень захочет жениться, так лучше найдет. Эдакий парень – ягода наливная!

V

За дверью, со стороны хозяйских комнат, слышался треск и какое-то глухое рычанье.

– Это у вас что же? – любопытствует торговка.

– Это барин чудит, – спокойно объясняет Агафья. – Верно, вчера у лесничего в карты проигрался. Он всегда так, как проиграется. Потому перед барыней ему стыдно, вот он и оказывает себя.

Рычание приблизилось, сделалось похожим на хриплый лай. Наконец дверь распахнулась, и на пороге показалась озверелая, вскоченная фигура хозяина дома.

– Послать ко мне Ваньку-дармоеда, – залаял он, – я ему покажу, как лошадь без овса оставлять!

Трах – дверь захлопнулась, и вскочившая Агафья лопочет в пустое пространство:

– Ванюшка хворый лежит!.. Точно так-с! Он за водой ушедши!.. Точно так-с! Сейчас его кликну.

Ванюшка испуганно натягивает сапоги, не попадая в них ногами.

– Господи! – ахает торговка. – Личико-то! Личико-то. Харю-то евонную посмотри!

Ванюшка ринулся во двор.

– Ишь, каким козырем, – ворчала вслед ему Агафья. – На мать и не взглянул. Другой бы земляной поклон сделал. Простите, мол, маменька, что вы меня свиньей на свет родили.

Дверь с треском отворилась, и Ванюшка неестественно скоро вбежал в кухню. Он растерянно оглядывался запухшими глазами и растирал рукой затылок.

– Хым! Хым, – хмыкал он, – на старые-то дрожжи! Очень мне нужно твое место. Я местов сколько угодно найду. Не дорожусь.

– Мати Пресвятая Богородица! – заголосила Агафья. – Прогнал его барин, пьяницу, лежебоку-дармоедину! Куда ж я с ним теперь... За что же он тебя выгнал-то?

– Да, грит, зачем по балам шляюсь и зачем морду изувечил. На козлы, грит, страм посадить, – гнусит Ванюшка, тупо смотря в землю.

Торговка радостно волнуется и суетится, как репортер на пожаре.

– Так зачем же ты дал эдак себя наколотить? – допытывается она. – Нешто можно столько человек на одного? Али уж очень выпивши был на вечеринке-то?

VI

Ванюшка вдруг быстро-быстро захлопал глазами и, низко оттянув углы распыленного рта, жалобно всхлипнул:

– И нигде я не был... И на вечеринке не был...

– Господи! Наваждение египетское! Так с кем же ты дрался-то?

– И ни с кем не дрался... На земского напоролся!..

– Молчи! – строго цыкнула Агафья. – За эдакие слова знаешь куда?! Что тебе земский – тын аль частокол? Как ты на него напороться мог, дурак ты урожденный.

И она уже занесла было свою карающую длань, но торговка властно остановила ее и, указав на Ванюшку, многозначительно постукала себя пальцем по лбу.

– Ишь ты, – опешила Агафья. – Отец-то покойничек тоже пивал. Только к нему все больше эти, с хвостиками, приходили. А земский нет. Земским его не морочило.

– Вот что, парень, – с деловым тоном начала торговка. – Ты ляг себе да отлежись. Вон матка тебя керосинцем потрет. А уж я твое дело улажу. В ножки поклонись. Да мне не нужно, я ведь не гонюсь. Без места, стало, не останешься. Земчиха меня сегодня просила, муж-то ейный Егорку-то из-за вора с кучеров прогнал, так вот, значит, не найду ли я ей парня, чтоб за лошадьё умел ходить. Я-то ведь еще не знала, что тебя выгонят. А вот теперь пойду да и предоставлю, что ты, мол, желаешь.

Успокоившийся было Ванюшка вдруг дико взвыл и, выпучив в ужасе подбитые синяками глаза, вскочил на ноги.

Бабы шарахнулись в сторону и, подталкивая друг друга, вылетели во двор.

– Не! Тут керосин не поможет, – озабоченно разводя руками, решила торговка. – Беги, матушка, к головихе, у ейной старухи четверговая соль, дай ему с хлебом понюхать.

Агафья охала и чесала локти.

– Пойтить рассказать, – задумчиво прошептала торговка и, повертев головой, как ворона на подоконнике, пустилась вдоль улицы.

Даровой конь

Николай Иванович Уткин, маленький акцизный чиновник маленького уездного городка, купил рублевый билет в губернаторшину лотерею и выиграл лошадь.

Ни он сам, ни окружающие не верили такому счастью. Долго проверяли билет, удивлялись, ахали. В конце концов отдали лошадь Уткину.

Когда первые восторги поулеглись, Уткин призадумался.

«Куда я ее дену? – думал он. – Квартира у меня казенная, при складе, в одну комнату, да кухня. Сарайчик для дров махонький, на три вязанки. Конь же животное нежное, не на улице же его держать».

Приятеля посоветовали попросить у начальства квартирных денег.

– Откажись от казенной. Найми хоть похуже, да с сарайчиком. А отказывать станут – скажи, что, мол, семейные обстоятельства, гм... приращение семейства.

Начальство согласилось. Деньги выдали. Нанял Уткин квартиру и поставил лошадь в сарай. Квартира стоила дорого, лошадь ела много, и Уткин стал наводить экономию – бросил курить.

– Чудесный у вас конь, Николай Иванович, – сказал соседний лавочник. – Беспременно у вас этого коня сведут.

Уткин забеспокоился. Купил особый замок к сараю. Заинтересовалось и высшее начальство Николая Ивановича.

– Эге, Уткин! Да вы вот какой! У вас теперь и лошадь своя! А кто же у вас кучером? Сами, что ли, хе-хе-хе!

Уткин смутился.

– Что вы, помилуйте-с. Ко мне сегодня вечером обещал прийти один парень. Все вот его и дождался. Знаете, всякому доверить опасно.

Уткин нанял парня и перестал завтракать.

Голодный, бежал он на службу, а лавочник здоровался и ласково спрашивал:

– Не свели еще лошадку-то? Ну, сведут еще, сведут! На все свой час, свое время.

А начальство продолжало интересоваться:

– Вы что же никогда не ездите на вашей лошадке?

– Она еще не обьезжена. Очень дикая.

– Неужели? А губернаторша на ней, кажется, воду возила. Странно! Только знаете, голубчик, вы не думайте продать ее. Потом, со временем, это, конечно, можно будет. Но теперь ни в коем случае! Губернаторша знает, что она у вас, и очень этим интересуется. Я сам слышал. «Я, говорит, от души рада, что осчастливила этого бедного человека, и мне отраднo, что он так полюбил моего Колдуна». Теперь понимаете?

Уткин понимал и, бросив обедать, ограничился чаем с ситником.

Лошадь ела очень много. Уткин боялся ее и в сарай не заглядывал. «Еще лягнет, жирная скотина. С нее не спросишь».

Но гордился перед всеми по-прежнему.

– Не понимаю, как может человек, при известном достатке, конечно, обходиться без собственных лошадей. Конечно, дорого. Но зато удобство!

Перестал покупать сахар.

Как-то зашли во двор два парня в картузах, попросили позволения конька посмотреть, а если продадут, так и купить. Уткин выгнал их и долго кричал вслед, что ему за эту лошадь давно тысячу рублей давали, да он и слышать не хочет.

Слышал все это соседний лавочник и неодобрительно качал головой.

– И напрасно, вы их только пуще разжигаете. Сами понимаете, какие это покупатели!

– А какие?

– А такие, что воры. Конокрады. Пришли высмотреть, а ночью и слямзят.

Затревожился Уткин. Пошел на службу, даже ситника не поел. Встретился знакомый телеграфист. Узнал, потужил и обещал помочь.

– Я, – говорит, – такой аппарат поставлю, что как, значит, кто в конюшню влезет, так звон-треск по всему дому пойдет.

Пришел телеграфист после обеда, работал весь вечер, приладил все и ушел. Ровно через полчаса затрещали звонки.

Уткин ринулся во двор. Один идти оробел. Убьют еще.

Кинулся в клетушку, растолкал парня Ильюшку. А звонок все трещал да трещал. Подошли к сараю. Смотрят – замок на месте. Осмелели, открыли дверь. Темно. Лошадь жует. Осмотрели пол.

– Ска-тина! – крикнул Уткин. – Это она ногой наступила на проволоки. Ишь жует. Хоть бы ночью-то не ела. У нас, у людей, хоть какой будь богатый человек, а уж круглые сутки не позволит себе есть. Свинство. Прямо не лошадь, а свинья какая-то.

Лег спать. Едва успел задремать – опять треск и звон. Оказалось – кошка. На рассвете опять.

Совершенно измученный пошел Уткин на службу. Спал над бумагами.

Ночью опять треск и звон. Проволоки, как идиотки, соединялись сами собой. Уткин всю ночь пробежал босиком от сарая к дому и под утро захворал. На службу не пошел.

«Что я теперь? – думал он, уткнувшись в подушку. – Разве я человек? Разве я живу? Так – пресмыкаюсь на чреве своем, а скотина надо мной царит. Не ем и не сплю. Здоровье потерял, со службы выгонят. Пройдет моя молодость за ничто. Лошадь все сожрет!»

Весь день лежал. А ночью, когда все стихло и лишь слышалась порою трескотня звонка, он тихо встал, осторожно и неслышно открыл ворота, прокрался к конюшне и, отомкнув дверь, быстро юркнул в дом.

Укрывшись с головой одеялом, он весело усмехался и подмигивал сам себе.

– Что, объела! А? Недолго ты, матушка, поцарствовала, дромадер окаянный! Сволокут тебя анафемские воры на живодерню, станут из твоей шкуры, чтоб она лопнула, козловые сапоги шить. Губернаторшин блюдолиз! Вот погоди, покажут тебе губернаторшу.

Заснул сладко. Во сне ел оладьи с медом. Утром крикнул Ильюшку, спросил строгим голосом... – все ли благополучно?

– А все!

– А лошадь... цела? – почти в ужасе крикнул Уткин.

– А что ей делается.

– Врешь ты, мерзавец! Конский холоп!

– А ей-богу, барин! Вы не пугайтесь. Конек ваш целехонек. Усе сено пожрал, теперь овса домогается.

У Уткина отнялась левая нога и правая рука. Левой рукой он написал записку:

«Никого не виню, если умру. Лошадь меня съела».

Взамен политики

Сели обедать.

Глава семьи, отставной капитан с обвисшими, словно мокрыми, усами и круглыми, удивленными глазами, озирался по сторонам с таким видом, точно его только что вытащили из воды и он еще не может прийти в себя. Впрочем, это был его обычный вид, и никто из семьи не смущался этим.

Посмотрев с немим изумлением на жену, на дочь, на жильца, нанимавшего у них комнату с обедом и керосином, заткнул салфетку за воротник и спросил:

– А где же Петька?

– Бог их знает, где они валандаются, – отвечала жена. – В гимназию палкой не выгонишь, а домой калачом не заманишь. Балует где-нибудь с мальчишками.

Жилец усмехнулся и вставил слово:

– Верно, все политика. Разные там митинги. Куда взрослые, туда и они.

– Э, нет, миленький мой, – выпучил глаза капитан. – С этим делом, слава богу, покончено. Никаких разговоров, никакой трескотни. Кончено-с. Теперь нужно делом заниматься, а не языком трепать. Конечно, я теперь в отставке, но и я не сижу без дела. Вот, придумаю какое-нибудь изобретение, возьму патент и продам, к стыду России, куда-нибудь за границу.

– А что же вы изволите изобретать?

– Да еще наверное не знаю. Что-нибудь да изобрету. Господи, да мало ли еще вещей не изобретено! Ну, например, скажем, – изобрету такую какую-нибудь машинку, чтобы каждое утро, в положенный час, аккуратно меня будила. Покрутил с вечера ручку, а уж она сама и разбудит. А?

– Папочка, – сказала дочь, – да ведь это просто будильник.

Капитан удивился и замолчал.

– Да, вы, действительно, правы, – тактично заметил жилец. – От политики у нас у всех в голове трезвон шел. Теперь чувствуешь, что мысль отдыхает.

В комнату влетел краснощекий третьеклассник-гимназист, чмокнул на ходу щеку матери и громко закричал:

– Скажите: отчего гимн-азия, а не гимн-африка.

– Господи помилуй! С ума сошел! Где тебя носит? Чего к обеду опаздываешь? Вон и суп холодный.

– Не хочу супу. Отчего не гимн-африка?

– Ну давай тарелку: я тебе котлету положу.

– Отчего кот-лета, а не кошка-зима? – деловито спросил гимназист и подал тарелку.

– Его, верно, сегодня выпороли, – догадался отец.

– Отчего вы-пороли, а не мы-пороли? – запихивая в рот кусок хлеба, бормотал гимназист.

– Нет, видели вы дурака? – возмущался удивленный капитан.

– Отчего бело-курый, а не черно-петухатый? – спросил гимназист, протягивая тарелку за второй порцией.

– Что-о? Хоть бы отца с матерью постыдился!..

– Петя, стой, Петя! – крикнула вдруг сестра. – Скажи, отчего говорят дверь, а не говорят д-сомневайся? А?

Гимназист на минуту задумался и, вскинув на сестру глаза, ответил:

– А отчего пан-талоны, а не хам-купоны!

Жилец захихикал.

– Хам-купоны... А вы не находите, Иван Степаныч, что это занятно? Хам-купоны!..

Но капитан совсем растерялся.

– Сонечка! – жалобно сказал он жене. – Выгони этого... Петьку из-за стола! Прошу тебя, ради меня.

– Да что ты, сам не можешь, что ли? Петя, слышишь? Папочка тебе приказывает выйти из-за стола. Марш к себе в комнату! Сладкого не получишь!

Гимназист надулся.

– Я ничего худого не делаю... у нас весь класс так говорит... Что ж, я один за всех отдувайся!..

– Ничего, ничего! Сказано – иди вон. Не умеешь себя вести за столом, так и сиди у себя!

Гимназист встал, обдернул курточку и, втянув голову в плечи, пошел к двери.

Встретив горничную с блюдом миндального киселя, всхлипнул и, глотая слезы, проговорил:

– Это подло – так относиться к родственникам... Я не виноват... Отчего вино-ват, а не пиво-ват?!

Несколько минут все молчали. Затем дочь сказала:

– Я могу сказать, отчего я вино-вата, а не пиво-хлопок.

– Ах, да уж перестань хоть ты-то! – замахала на нее мать. – Слава богу, не маленькая...

Капитан молчал, двигал бровями, удивлялся и что-то шептал.

– Ха-ха! Это замечательно, – ликовал жилец. – А я тоже придумал: отчего живу-зем, а не помер-зем. А? Это, понимаете, по-французски. Живузем. Значит «я вас люблю». Я немножко знаю языки, то есть сколько каждому светскому человеку полагается. Конечно, я не специалист-лингвист...

– Ха-ха-ха! – заливалась дочка. – А почему Дуб-ро-вин, а не осина-одинакова?..

Мать вдруг задумалась. Лицо у нее стало напряженное и внимательное, словно она к чему-то прислушивалась:

– Постой. Сашенька! Постой минутку. Как это... Вот опять забыла...

Она смотрела на потолок и моргала глазами.

– Ах да! Почему сатана... нет – почему дьявол... нет, не так!..

Капитан уставился на нее в ужасе.

– Чего ты лаешься?

– Постой! Постой! Не перебивай. Да! Почему говорят чертить, а не дьяволить?

– Ох, мама! Мама! Ха-ха-ха! А отчего «па-поч-ка», а не...

– Пошла вон, Александра! Молчать! – крикнул капитан и выскочил из-за стола.

Жильцу долго не спалось. Он ворочался и все придумывал, что он завтра спросит. Барышня вечером прислала с горничной две записки. Одну в девять часов: «Отчего обнимать, а не обни-отец?» Другую – в одиннадцать: «Отчего руб-ашка, а не девяносто девять копеек-ашка?»

На обе он ответил в подходящем тоне и теперь мучился, придумывая, чем бы угостить барышню завтра.

– Отчего... отчего... – шептал он в полудремоте. Вдруг кто-то тихо постучал в дверь.

Никто не ответил, но стук повторился. Жилец встал, закутался в одеяло.

– Ай-ай! Что за шалости! – тихо смеялся он, отпирая двери, и вдруг отскочил назад.

Перед ним, еще вполне одетый, со свечой в руках стоял капитан. Удивленное лицо его было бледно, и непривычная напряженная мысль сдвинула круглые брови.

– Виноват, – сказал он. – Я не буду беспокоить... Я на минутку... Я придумал...

– Что? Что? Изобретение? Неужели?

– Я придумал: отчего чер-нила, а не чер-какой-нибудь другой реки? Нет... у меня как-то иначе... лучше выходило... А впрочем, виноват... Я, может быть, обеспокоил... Так – не спалось – заглянул на огонек...

Он криво усмехнулся, расшаркался и быстро удалился.

Три правды

Что рассказывала Леля Перепегова.

– Вы ведь знаете, что я никогда не лгу и ничего не преувеличиваю. Если я ушла от Сергея Ивановича, то, значит, действительно, жизнь с ним становится невыносимой. При всей моей кротости я больше терпеть не могла. Да и зачем терпеть? Чего ждать? Чтобы он меня зарезал в припадке бешенства? Мерси. Режьтесь сами.

В воскресенье пошли обедать в ресторан. Всю дорогу скандалил, зачем взяла Джипси с собой. Только, мол, руки оттягивает, и то, и се, и пятое, и десятое. Я ему отвечаю, что если и оттянет руки, так мне, а не ему, так и нечего меня с грязью смешивать. И зачем было заводить собаку, если всегда оставлять ее дома? Надулся и замолчал.

Но это еще не все.

Приходим в ресторан. Садимся, конечно, около дверей. Люди находят хорошие места, а мы почему-то либо у дверей, либо у печки. Я вскользь заметила, что все это зависит от внимательности кавалера. Не прошло и пяти минут, как он говорит: «Вот освободилось хорошее место, перейдем скорее».

«Нет, – говорю, – мне и здесь отлично».

Потому что я прекрасно понимала, что пересадку он затеял исключительно потому, что против меня оказался прекрасный молодой человек. Все на меня поглядывал и подвигал – то перец, то горчицу. Видно, что из хорошего общества. Ел цыпленка.

Я совершенно не перевариваю ревности. Закатывать сцены из-за того, что вам подвинули горчицу! На это уж ни одна Дездемона не пойдет.

– Мне, – говорю, – и здесь отлично. Надулся. Молчит.

Однако смотрю – вторую бутылку вина прикончил.

– Сережа, – говорю, – тебе же ведь вредно! – Озлился, как зверь.

– Избавьте меня от вашего вмешательства и вульгарных замечаний.

О его же здоровье забочусь, и меня же оскорбляют.

Смотрю – требует третью. Это значит, чтобы меня наказать и подчеркнуть свое страдание. Ладно. Вышли из ресторана.

– Сережа, – говорю, – может быть, ты возьмешь на руки Джипса, я что-то устала.

А он как рявкнет:

– Я ведь так и знал, что этим кончится! Ведь просил не брать! Терпеть не могу. Выступаешь, как идиот, с моськой на руках.

Я смолчала. Опять не ладно.

– Чего, – кричит, – ты молчишь, как мегера.

У него только и есть. Молчу – мегера, смеюсь – гетера. Только и слышишь что древнегреческие обидности.

Идем. Ташу Джипси. Сердцебиение, усталость – однако молчу, кротко улыбаюсь.

Смотрим – по тротуару, напротив ресторана, шагает Кирпичев. Ну чем я виновата? Я его не предупреждала, что будем здесь.

Сергей Иванович, положим, смолчал. Но такое молчание хуже всякого скандала.

Поздоровались, пошли вместе. Ну тут он и начал свои фортели. То сзади плетется, то на три версты вперед убегает. Не могу, мол, идти так медленно. Да и нельзя, мол, весь тротуар занимать. А потом и совсем исчез.

Я вне себя от волнения. Кирпичев меня утешает, хотя сам исстрадался – худеет, бледнеет, ничего не ест. Молчит о чувстве своем, но догадаться нетрудно. Но с ним так легко говорится, приятно, интеллигентно. А с Сергеем Ивановичем так: либо ругаюсь, либо молчу, как какая-нибудь Юдифь с головой Олоферна.

Кирпичев довел меня до дому.

Пришла, жду, жду. Сергей Иванович явился только через час.

– Где вы были?

– Так, немножко прошелся.

А сам отворачивается. Наверное, шагал как идиот и обдумывал план самоубийства. Я не перевариваю ревности. Я собралась с духом и сказала ему прямо:

– Сергей Иванович, я вам должна одно сказать: во-первых...

А он как заорет:

– Если одно, так и говорите одно, а не заводите во-первых, да в-четвертых, да в-десятых на всю ночь. А я, – говорит, – вам прямо скажу – все это мне надоело, и я завтра же съезжаю. А сейчас прошу дать мне выспаться.

И завалился. Слышу храп. Притворяется нарочно, будто спит. Всю ночь притворялся, утром притворился, будто выспался, уложил чемодан и ушел.

Я знаю, что от ревности человек на все готов, но чтобы при этом еще так не владеть собою... Не знаю, что еще меня ждет. Кирпичев поклялся защитить меня от безумца.

Что рассказывал Сергей Иванович.

– Итак, значит, пошли мы в ресторан. Взяли с собой собачонку. Умолял не брать – нет, взбеленилась, и никаких. Сразу испортила настроение. Но, однако, смолчал.

В ресторане – вечная история – куда ее ни посади, то ее печет, то на нее дует. Но я дал себе слово сдерживаться. Вижу, освободилось место и предлагаю самым ласковым тоном пересесть. И вдруг в ответ перекошенная физиономия и змеиный шип.

– Мне и тут ладно.

Ладно так ладно. Мне наплевать. Умолять и в ногах валяться не стану. Молчу. Ем. Вино, кстати, там недурное.

Увидела, что я пью с интересом, и прицепилась. Тут уж я вскипел. Что, вообще, эти дурищи думают?

Для чего человек в ресторан ходит – зубы чистить, что ли? Человек ходит для того, чтобы есть и поедаемое запивать. Вот для чего. Их идеал, чтобы человек смотрел, как она ест, а сам бы пожевал вареную морковку, запил водичкой, как заяц, и все время говорил бы комплименты. Куда как весело!

Вышли из ресторана – так и знал – тычет мне на руки свою моську. Ведь предупреждал! Ведь просил! Действительно, возмутительно!

Встретили какого-то болвана Скрипкина или что-то в этом роде. Воспользовался случаем, чтобы удрать. Жажда безумная. Выпил пива. Эта дурища, между прочим, твердит, как дятел, что вино жажды не утоляет. Объяснял идиотке, что жажда есть потребность жидкости, а вино есть жидкость. А она говорит, что селедочный рассол тоже жидкость, однако жажды не утолит.

Я ей на это резонно отвечаю, что, если она истеричка, надо лечиться, а не бросаться на людей.

Вернулся домой – вижу, приготовилась скандалить.

Пресек сразу:

– Завтра уезжаю.

И лег спать.

Слава богу, не догадалась, что был в бистро – старался не дышать в ее сторону.

Нет, довольно, раз мы друг друга не понимаем и говорим на разных языках.

Довольно.

Что бы рассказала Джипси.

Пошли в ресторан.

Хозяева всю дорогу лаяли.

В ресторане ели дрянй. Чужой господин ел цыпленка. Я смотрел на него, а он на меня. Если бы хозяйка на него полаяла, он дал бы косточку.

Ничего мне не попало.

На улице подошел тот, что каждый день лает с хозяйкой на прогулке и пихает меня ногой.

Хозяин убежал, а тот просунул свою лапу под хозяйкину лапу и совсем скovyрнул меня в сторону. От него пахло жареной телятиной, а сам он тихонько подтягивал, будто голодный. Потом и хозяйка стала подтягивать. Сама виновата – зачем ела артишок и рака. Дура.

Оба притворялись голодными, да меня не надуеть.

Пришли к дому и стали у подъезда друг другу морды обнюхивать.

Она, верно, первая донюхалась, что он ел телятину, оттолкнула его и ушла.

Мы уже улеглись, когда пришел хозяин. От него несло двумя литрами пива – мне чуть дурно не сделалось. Где у них нюх? Я ему твякнула в самую морду.

– Барбос!

Теперь хозяина нет, а приходит тот. Она воет, а он твякает. А чтобы угостить шоколадом собаку, об этом, конечно, ни одному из них и в голову не придет.

Самая жестокая собачья разновидность – так называемый человек. Низшая раса, как подумаешь, что есть не верящие в белую кость!

Переоценка ценностей

Петя Тузин, гимназист первого класса, вскочил на стул и крикнул:

– Господа! Объявляю заседание открытым!

Но гул не прекращался. Кого-то выводили, кого-то стучали линейкой по голове, кто-то собирался кому-то жаловаться.

– Господа! – закричал Тузин еще громче. – Объявляю заседание открытым. Семенов-второй! Навались на дверь, чтобы пригостишки не пролезли. Эй, помогите ему! Мы будем говорить о таких делах, которые им слышать еще рано. Ораторы, выходи! Кто записывается в ораторы, подними руку. Раз, два, три, пять. Всем нельзя, господа; у нас времени не хватит. У нас всего двадцать пять минут осталось. Иванов-четвертый! Зачем жуешь! Сказано – сегодня не завтракать! Не слышал приказа?

– Он не завтракает, он клячку жует.

– То-то, клячку! Открой-ка рот! Федька, сунь ему палец в рот, посмотри, что у него. А? Ну то-то! Теперь прежде всего решим, о чем будем рассуждать. Прежде всего, я думаю... ты что, Иванов-третий?

– Прежде всего надо лассуждать пло молань, – выступил вперед очень толстый мальчик с круглыми щеками и надутыми губами. – Молань важнее всего.

– Какая молань? Что ты мелешь? – удивился Петя Тузин.

– Не молань, а молаль! – поправил председателя тоненький голосок из толпы.

– Я и сказал молань! – надулся еще больше Иванов-третий.

– Мораль? Ну хорошо, пусть будет мораль. Так, значит, мораль... А как это мораль... это про что?

– Чтобы они не лезли со всякой ерундой, – волнуясь, заговорил черненький мальчик с хохлом на голове. – То нехорошо, другое нехорошо. И этого нельзя делать, и того не смей. А почему нельзя – никто не говорит. И почему мы должны учиться? Почему гимназист непременно обязан учиться? Ни в каких правилах об этом не говорится. Пусть мне покажут такой закон, я, может быть, тогда и послушался бы.

– А почему тоже говорят, что нельзя класть локти на стол? Все это вздор и ерунда, – подхватил кто-то из напиравших на дверь. – Почему нельзя? Всегда буду класть...

– И стоб позволили зениться, – пискнул тоненький голосок.

– Кричат «не смей воровать!», – продолжал мальчик с хохлом. – Пусть докажут. Раз мне полезно воровать...

– А почему вдруг говорят, чтоб я муху не мучил? – забасил Петров-второй. – Если мне доставляет удовольствие...

– А мама говорит, что я должен свою собаку кормить. А с какой стати мне о ней заботиться? Она для меня никогда ничего не сделала!..

– Стоб не месали вступать в блак, – пискнул тоненький голосок.

– А кроме того, мы требуем полного и тайного женского равноправия. Мы возмущаемся и протестуем. Иван Семеныч нам все колы лепит, а в женской гимназии девчонкам ни за что пятерки ставит. Мне Манька рассказывала...

– Подожди, не перебивай! Дай сказать! Почему же мне нельзя воровать? Раз это мне доставляет удовольствие.

– Держи дверь! Напирай сильнее! Пригостишки ломаются.

– Тише! Тише! Петька Тузин! Председатель! Звони ключом об чернильницу – чего они галдят!

– Тише, господа! – надрывался председатель. – Объявляю, что заседание продолжается. Иванов-третий продвинулся вперед.

– Я настаиваю, чтоб лассуждали пло молань! Я хочу пло молань говолить, а Сенька мне в ухо дует! Я хочу, чтоб не было никакой молани. Нам должны все позволить. Я не хочу увазать лодителей, это унизительно. Сенька! Не смей мне в ухо дуть! И не буду слушаться сталших, и у меня самого могут лодиться дети... Сенька! Блось! Я тебе в молду!

– Мы все требуем свободной любви. И для женских гимназий тоже.

– Пусть не заплешают нам зениться! – пискнул голосок.

– Они говорят, что обижать и мучить другого нехорошо. А почему нехорошо? Нет, вот пусть объяснят, почему нехорошо, тогда я согласен. А то эдак все можно выдумать: есть нехорошо, спать нехорошо, нос нехорошо, рот нехорошо. Нет, мы требуем, чтобы они сначала доказали. Скажите пожалуйста – «нехорошо». Если не учишься – нехорошо. А почему же, позвольте спросить, – нехорошо? Они говорят – «дураком вырастешь». Почему дурак нехорошо? Может быть, очень даже хорошо.

– Дулак – это холосо!

– И по-моему хорошо. Пусть они делают по-своему, я им не мешаю. Пусть и они мне не мешают. Я ведь отца по утрам на службу не гоняю. Хочет – идет, не хочет – мне наплевать. Он третьего дня в клубе шестьдесят рублей проиграл. Ведь я же ему ни слова не сказал. Хотя, может быть, мне эти деньги и самому пригодились бы. Однако смолчал. А почему? Потому что я умею уважать свободу каждого ин-ди...юн-ди...ви-ди-ума. А он меня по носу тетрадью хлопает за каждую единицу. Это гнусно. Мы протестуем.

– Позвольте, господа, я должен все это занести в протокол. Нужно записать. Вот так: «Пратакол засе...» «Засе» или «заси»? «Заседания». Что у нас там первое?

– Я говорил, чтоб не приставали локти на стол...

– Ага! Как же записать?.. Нехорошо – «локти». Я напишу «оконечности». «Протест против запрещения класть на стол свои оконечности». Ну, дальше.

– Стоб зениться...

– Нет, врешь, тайное равноправие!

– Ну ладно, я соединю. «Требуем свободной любви, чтоб каждый мог жениться, и тайное равноправие полового вопроса для дам, женщин и детей». Ладно?

– Тепель пло молань.

– Ну ладно. «Требуем переменить мораль, чтоб ее совсем не было. Дурак – это хорошо».

– И воровать можно.

– «И требуем полной свободы и равноправия для воровства и кражи, и пусть все, что нехорошо, считается хорошо». Ладно?

– А кто украл, напиши, тот совсем не вор, а просто так себе человек.

– Да ты чего хлопочешь? Ты не слимонил ли чего-нибудь?

– Караул! Это он мою булку слопал. Вот у меня здесь сдобная булка лежала: а он все около нее боком... Отдавай мне мою булку!.. Сенька! Держи его, подлеца! Вали его на скамейку! Где линейка?.. Вот тебе!.. Вот тебе!..

– А-а-а! Не буду! Ей-богу, не буду!..

– А, он еще щипаться!..

– Дай ему в молду! Мелзавец! Он делется!..

– Загни ему салазки! Петька, заходи сбоку!.. Помогай!..

Председатель вздохнул, слез со стула и пошел на подмогу.

Политика воспитывает

Собрался он к нам погостить на несколько дней и о приезде своем известил телеграммой. Пошли на вокзал встречать. Смотрим во все стороны, как бы не проглядеть – давно не виделись и не узнать легко.

Вот, видим, вылезает кто-то из вагона бочком. Лицо перепуганное, в руке паспорт. Кивнул головой.

– Дядюшка! Вы?

– Я! Я! – говорит. – Только вы, миленькие, обождите, потому – я еще не обыскался.

Пошел прямо к кондуктору, мы за ним.

– Будьте любезны, – говорит, – укажите, где мне здесь обыскаться?

Тот глаза выпучил, молчит.

– Ваше дело, ваше дело. Я предлагал, тому есть свидетели.

Дяденька, видимо, обиделся. Мы взяли его под руки и потащили к выходу.

– Разленился народ, – ворчал он.

Привезли мы дядюшку домой, занимаем, угощаем. Объявил он нам с первого слова, что приехал развлекаться. «Закис в провинции, нужно душу отвести».

Стали мы его расспрашивать, как, мол, у вас там, говорят, будто бы...

– Все вздор. Все давно вернулись к мирным занятиям.

– Однако ведь во всех газетах было...

Но он и отвечать не пожелал. Попросил меня сыграть на рояле что-нибудь церковное.

– Да я не умею.

– Ну, и очень глупо. Церковное всегда надо играть, чтоб соседи слышали. Купи хоть граммофон.

К вечеру дяденька совсем развинтился. Чуть звонок, бежит за паспортом и велит всем руки вверх поднимать.

– Дяденька, да вы не больны ли?

– Нет, миленькие, это у меня от политического воспитания. Оборотистый я стал человек. Знаю, что, где и когда требуется.

Лег дяденька спать, а под подушку «Новое время» положил, чтоб худые сны не снились.

Наутро попросил меня свести его в сберегательную кассу.

– Деньги дома держать нельзя. Если меня дома грабить станут – непременно убьют. А в кассе грабить станут, так убьют не меня, а чиновника. Поняли? Эх вы, дурашки!

Поехали мы в кассу. У дверей городской стоит. Дяденька засуетился.

– Милый друг! Ради бога, делай невинное лицо. Ну, что тебе стоит! Ну, ради меня, ведь я же тебе родственник!

– Да как же я могу? – удивляюсь я. – Ведь я же ни в чем не виновата.

Дядюшка так и заметался.

– Погубит! Погубит! Смейся, хоть, по крайней мере, верещи что-нибудь...

Вошли в кассу.

– Фу! – отдувался дяденька. – Вывезла кривая. Бог не без милости. Умный человек везде побывать может: и на почте, и в банке, и всегда сух из воды выйдет. Не надо только распускаться.

В ожидании своей очереди дяденька неестественно громким голосом стал рассказывать про себя очень странные вещи.

– Эти деньги, друг мой, – говорил он, – я в клубе наиграл. День и ночь дулся, у меня еще больше было, да я остальное пропил. А это вот, пока что, спрячу здесь, а потом тоже пропью, непременно пропью.

– Дяденька! – ахала я. – Да ведь вы же никогда карт в руки не брали! Да вы и не пьете ничего!..

Он в ужасе дергал меня за рукав и шипел мне на ухо:

– Молчи! Погубишь! Это я для них. Все для них. Пусть считают порядочным человеком.

Из сберегательной кассы отправились домой пешком. Прогулка была невеселая. Дяденька во все горло кричал про себя самые скверные вещи. Прохожие шарахались в сторону.

– Ладно, ладно, – шептал он мне. – Уж буду не я, если мы благополучно до дому не дойдем. Умный человек все может. Он и в банке побывает, и по улице погуляет, и все ему как с гуся вода.

Проходя мимо подворотного шпика, дяденька тихо, но с неподдельным чувством пропел: «Мне верить хочется, что этих глаз сиянье!..»

Мы были уже почти дома, когда произошло нечто совершенно неожиданное. Мимо нас проезжал генерал, самый обыкновенный толстый генерал, на красной подкладке. И вдруг мой дяденька как-то странно пискнул и, мгновенно повернувшись спиной к генералу, простер к небу руки. Картина была жуткая и величественная. Казалось, что этот благородный седовласый старец в порыве неизъяснимого экстаза благословляет землю.

Вечером дяденька запросился в концерт. Внимательно изучив программу удовольствий, он остановил свой выбор на благотворительном музыкально-вокальном вечере.

Поехали.

Запел господин на эстраде какое-то «Пробуждение весны». Дяденька весь насторожился: «А вдруг это какая-нибудь эдакая аллегория. Я лучше пойду покурю».

Кончилось пение. Началась декламация. Вышла барышня, стала декламировать «Письмо» Апухтина. Дяденька сначала все радовался: «Вот это мило! Вот молодец девица. И комар носу не подточит». Хвалил, хвалил, да вдруг как ахнет. Схватил меня за руку да к выходу.

– Дяденька! Голубчик! Что с вами!

– Молчи, – говорит, – молчи! Скорей домой. Дома все скажу.

Дома потребовал от меня входные билеты с концерта, сжег их на свечке и пепел в окно бросил. Затем стал вещи укладывать. Мы просили, уговаривали. Ничто не помогло.

– Да вы хоть скажите, дяденька, что вас побудило?

– Да не притворяйся, – говорит, – сама слышала, что она сказала. Отлично слышала.

Насилу уговорили рассказать. Закрыв все двери.

– Она, – говорит, – сказала: «Воспоминанье гложет, как злой палач, как милый властелин».

– Так что же из этого? – удивляюсь я. – Ведь это стихи Апухтина.

– Что из этого? – говорит он жутким шепотом. – Что из этого? «Гложет, как милый властелин». Статья 121, вот что это из этого. Пятнадцать лет каторжных работ, вот что из этого. Идите вы, если вам нравится, а я, миленькие, стар стал для таких штук. Мне и здоровье не позволит.

И уехал.

Семья разговляется

– Поедьте к нам, – упрашивали знакомые, когда стали расходиться из церкви. – Поедьте, вместе разговеемся.

Но Хохловы поблагодарили и с достоинством отказывались.

– Нет уж, мы всегда дома! Уж это такой праздник – сами понимаете... Вся семья должна быть в сборе. Мы всегда дома разговляемся, все вместе, сами понимаете... И детки ждать будут, как же можно?..

Радостно, торжественно.

Колокола гудят, на улицах толпа народа.

Радостно, торжественно.

Хохлов говорит жене:

– Швейцару пять, старшему дворнику пять...

– Посмотри, какой красивый вензель на подъезде, – перебивает жена. – Надо шесть. Прибавь рубль, а то сразу начнет с квартирными приставать.

– Все равно, рублем не замажешь... Для фрейлейн что купила?

– Браслетку, – вздохнула жена. – За шесть рублей, дутая, но очень миленькая. И потом, я на коробочку попросила другую цену наклеить. Приказчик очень симпатичный, написал – двенадцать с полтиной. По-моему, это даже еще естественнее, чем, например, просто тринадцать или двенадцать. Не правда ли? Но до чего я устала со всеми этими дрызгами! Обо всех нужно подумать, а ведь я одна. Поручить некому, а у всех претензии. Глаша (вообрази себе нахальство!) подходит ко мне на днях и заявляет: «Будете для меня подарок покупать – купите коричневого бордо на платье». Каково! И ведь прекрасно знает, что я сама коричневое ношу!

– Распушенность! Сама виновата. Не надо распускать. Приехали.

Швейцар торжественно распахнул двери.

– Христос Воскресе! С праздником, ваша милость!

Эту радостную весть первых христиан он произнес так спокойно и почтительно, словно докладывал: «Тут без вас господин приходили».

А Хохлов молча вытянул из-под отворота шубы бумажник, нахмурившись, вынул пять рублей и отдал их швейцару.

– Началось! – вздохнула жена.

Поднялись по лестнице.

На звонок отворила горничная и неестественно оживленно поздравила.

– Подарок после отдам, – сказала барыня и подумала: «И чего эта дура радуется? Воображает, кажется, что я ей коричневого купила».

В столовой ждали две девочки.

– Мама! – сказала одна. – Катя от большого кулича изюмину выколупала. Теперь там дырка.

– А Женя пасху руками трогала...

– Очень мило! Очень мило! – запела мать. – Вот как вы встречаете родителей. Вместо того чтобы похристосоваться и поздравить с праздником, вы вот как... А где ваша фрейлейн? Куда она девалась?

– Фрейлейн в гостиной, в зеркало смотрится, – отвечали девочки дуэтом.

– Час от часу не легче! Жалованье платишь, подарки покупаешь, а уйдешь из дому лоб перекрестить – и детей оставить не на кого. Фрейлейн Эмма! Где же вы?

Вошла фрейлейн с напряженно-праздничным лицом. В волосах кокетливо извивалась старая, застиранная лента.

Фрейлейн сделала полупоклон, полуреверанс, то есть, склонив голову, слегка лягнула ногой под юбкой, и сказала:

– Ich gratuliere...¹

– Это очень хорошо, моя милая, – перебила ее хозяйка, – но вы также не должны забывать свои обязанности. Дети шалят, портят куличи...

У немки сразу покраснел носик.

– Я гавариль Катенько, а Катенько отвешаль, что кулиш не святой. Я не знаю русски обышай, што я могу?

– Ну, перестаньте! Об этом потом поговорим. А где Петя?

– Петя пошел к заутрени во все церкви сразу, – отвечал дуэт. – Я говорила, что мама рассердится, а он говорит, что он не просил вас, чтобы вы его рождали, и что вы не имеете права вмешиваться.

– Ах, дрянь эдакая! Ох, бессовестный! – закудахтала мать.

– В чем дело? – спросил, входя, Хохлов. – Вот вам подарок. Фрейлейн, вам браслетка. А вам, дети, – крокет.

Дети надулись.

– Какой же подарок! Крокет вовсе не подарок. Крокет еще в прошлом году обещали без всякого праздника.

– Цыц! Вон пошли! Сидите смирно или убирайтесь вон из комнаты! Не дадут отцу-матери разговеться спокойно. Где Петька?

– Во все церкви пошел... не имеете права вмешиваться... он не просил, – отвечал дуэт.

– Что такое? Ничего не понимаю. Вот я ему уши надеру, как вернется. Будет помнить! Не давать ему ни кулича, ни пасхи! Эдакая дрянь!

Хохлов сел за стол.

– Это что? Поросенок? Чего ты там в него натыкала? И к чему было фаршировать, когда я ничего фаршированного в рот не беру! Только добро портят. Муж горбом выколачивает гроши, а вы хоть бы подумали, легко ли это ему дается. Вы только сидите да фаршируете! Эдак, матушка, ты хоть миллион профаршируешь, раз в тебе нет никакой самокритики. Так тоже нельзя! Ну, к чему здесь, спрашивается, огурец лежит? Ну, кого ты думала огурцом удивить?

– Да я думала, что, может быть, Август Иванович разговеться заедет.

– Август Иваныч! Очень ты его огурцом удивишь! Одна фанаберия. Передай сюда яйца.

Хохлов треснул яйцом об край тарелки. Жидкий желток брызнул ему на жилетку и пошел по пальцам.

– Это что? А? Всмятку! Позвать сюда Мавру! Позвать сюда мерзавку, которая на Пасху яйца всмятку варит. А? Каково? Двенадцать рублей жалованья, яиц сварить не умеет!

Вошла кухарка, встала у дверей.

– Это что? А? Это крутое яйцо? А?

– Виновата-с! К нему в нутро тоже не влезешь. Кто его знает, отчего оно не сварилось... Я ведь тоже не Свят Дух!..

– Скажи лучше, что ты мне с жилеткой сделала! У меня жилет тридцать рублей стоит; я его десять лет ношу, а ты мне его в один миг уничтожила! С меня подарков требуешь, а сама меня по миру норовишь пустить! Вон! Чтоб духу твоего... Кто там звонит? Ага, Петя! Тебя-то мне и нужно! Ты как смел без спросу в церковь уйти? А? Отвечай!

– Да что ж, когда вы не пускаете! Я ведь тоже человек. У меня религиозная потребность...

– Ах ты, поросенок! Скажите пожалуйста, какие он отцу слова говорит! Отец на них работает, отец их воспитывает, одевает, обувает, ночей не спит да думает, как бы им хорошо было...

¹ Я поздравляю... (нем.).

- А где подарки?
- Слушаться не хотят, а о подарках не забудут. Тебе мать коньки купила, только я их тебе не дам! Нет, братец! Ты воображаешь...
- Не надо мне ваших коньков! Кто ж к лету коньки дарит! Все только нарочно!
- Сам же всю осень ныл, что коньков нет!..
- Так это осенью было! А теперь я же вам намекал, что мне удочка нужна. Если вы отец, так вы и должны относиться по-родительски.
- Ах ты, поросенок! Вон отсюда! Ничего не получишь! Не давать ему ничего! Ни кулича, ни пасхи! Ничего!
- А, так вот же вам!
- Петя шлепнул ладонью по пасхе и удрал в свою комнату.
- Пойду, отдам прислуге подарки, – сказала Хохлова и встала из-за стола.
- Муж остался один и долго молча жевал.
- Ну что, рады небось? – спросил он, когда жена вернулась.
- Разве их чем-нибудь обрадуешь? Даже не поблагодарили... Глаша говорит, что фрей-лейн плачет.
- Чего она?
- Браслетка не нравится. Не к лицу.
- Вот дура!
- Такая миленькая браслетка. И два сердечка подвешены. Им все мало!
- Ну, вот и разговелись. Теперь можно и на боковую. Слышишь? Что это там за треск? А?
- Ничего. Это девчонки крокет ломают.
- Эдакие дряни! Вот я им ужо!!

Нянькина сказка про кобылью голову

– Ну, а вы какого мнения относительно совместного воспитания мальчиков и девочек? – спросила я у своей соседки по five o'clock'у.

– Как вам сказать!.. Если бы дело шло о воспитании меня самой, то, конечно, я была бы всецело на стороне новых веяний. Ах, это было бы так забавно. Маленькие романы... Сцены ревности за уроками чистописания, самоотверженная подсказка... Да, это очень увлекательно! Но для своих дочерей я предпочла бы воспитание по старой методе. Как-то спокойнее! И, знаете ли, мне кажется, все-таки неприятно было бы встретиться где-нибудь в обществе с господином, который когда-то при вас спрягал: «Nous avons, vous avez, ils ont»²... или еще того хуже! Такие воспоминания очень расхолаживают.

– Все это вздор! – перебила ее хозяйка дома. – Не в этом суть! Главное, на что должно быть обращено внимание родителей и воспитателей, – это развитие в детях фантазии.

– Однако? – удивился хозяин и пожевал губами, очевидно собираясь сострить.

– Finissez!³ Никаких бонн и гувернанток! Никаких. Нашим детям нужна русская нянька! Простая русская нянька – вдохновительница поэтов. Вот о чем прежде всего должны озаботиться русские матери.

– Pardon! – вставила моя соседка. – Вы что-то сказали о поэтах... Я не совсем поняла.

– Я сказала, что русская литература многим обязана няньке. Да! Простой русской няньке! Лучший наш поэт, Пушкин, по его же собственному признанию, был вдохновлен нянькой на свои лучшие произведения. Вспомните, как отзывался о ней Пушкин:

«Голубка дряхлая моя... голубка дряхлая моя... сокровища мои на дне твоём таятся...»

– Pardon, – вмешался молодой человек, приподняв голову над сахарницей, – это, как будто, к чернильнице...

– Что за вздор! Разве чернильница может нянчить. А все эти дивные произведения! «Руслан и Людмила», «Евгений Онегин», – ведь всему этому научила его нянька!

– Неужели и «Евгений Онегин»? – усомнилась моя соседка.

– Удивительно! – мечтательно сказал хозяин дома, – такая дивная музыка... И все это нянька!

– Finissez! Только теперь я и чувствую себя спокойно, когда взяла к детям милую старушку. Она каждый вечер рассказывает детям свои очаровательные сказочки.

– Да, но, с другой стороны, излишняя фантазия тоже вредна! – заметила моя соседка. – Я знала одного дантиста... Так он ужасно много о себе воображал... То есть я не то хотела сказать...

Она слегка покраснела и замолчала.

– А сколько возни было с этими боннами! Была сначала швейцарка. Боже мой, как она нас замучила! Иван Андреич до сих пор без содрогания о ней вспомнить не может. Представьте себе, чем она нас донимала? Аккуратностью. Каждое утро все оконные стекла зубной щеткой чистила. Порядки завела прямо необыкновенные. Заставила в три часа обедать, а ужинать совсем запретила. Иван Андреич стал в клуб ездить, а я, потихоньку, к Филиппову бегала пирожки есть. Теперь положительно сама не понимаю, как она такую власть над нами забрала. Прямо пикнуть не смели!

– Говорят, есть такие флюиды... – вставил хозяин, сделав умное лицо.

– Finissez! Наконец избавились от нее. Взяла немку. Все шло недурно, хотя она сильно была похожа на лошадь. Отпустишь ее с детьми гулять, а издали кажется, будто дети на извоз-

² Мы имеем, вы имеете, они имеют (*фр.*).

³ Перестаньте! (*фр.*)

чике едут. Не знаю, может быть, другим и не казалось, но мне, по крайней мере, казалось. Каждый может иметь свое мнение. Тем более, я – мать.

Мы не спорили, и она продолжала:

– Прихожу я раз в детскую, вижу – Надя и Леся укачивают кукол и какую-то немецкую песенку напевают. Я сначала даже обрадовалась успеху в немецком языке. Потом, как прислушалась, – Господи, что такое! Ушам своим не верю. «*Wilhelm schlief bei seiner neuen Liebe!*»⁴ – выводят своими тоненькими голосками. Я прямо чуть с ума не сошла.

В комнату вошла горничная и что-то доложила хозяйке дома.

– А-а! Вот и отлично! Теперь шесть часов, и няня сейчас начнет рассказывать детям сказку. Если хотите, господа, полюбоваться на эту картинку в жанре... в жанре... как его? Их еще два брата...

– Карл и Франц Мор, – подсказал молодой человек.

– Да, – согласилась было хозяйка, но тотчас спохватилась: – Ах нет, на «Д»...

– Решке, что ли? – помог муж.

– *Finissez!* В жанре... в жанре Маковского.

– Так вот – картинка в жанре Маковского. Я всегда обставляю это так фантастично. Зажигаем лампадку, няня садится на ковер, дети вокруг. *C'est poetique*⁵. Так что же, – пойдемте?

Мы согласились, и хозяйка повела нас в кабинет мужа и, тихонько приоткрыв дверь в соседнюю комнату, знаком пригласила нас к молчанию и вниманию.

В детской действительно было полутемно. Горела только зеленая лампадка. И тихо. Скрипучий старушечий голос прорывался сквозь шамкающие губы и тягуче рассказывал:

– «В некотором царстве, да не в нашем государстве, жил-был старик со старухой, старые-престарые, и детей у них не было.

Вот погоревал старик, погоревал, да и пошел в лес дрова рубить.

Рубит, рубит, вдруг, откуда ни возьмись, выкатилась из лесу кобылья голова.

– Здравствуй, – говорит, – папаша!

Испугался мужик, однако делать нечего.

– Какой, – говорит, – я тебе, кобылья голова, папаша!

– А такой, что веди меня к себе в избу жить.

Потужил мужик, потужил, однако видит, делать нечего. Повел он кобылью голову к себе домой.

Подкатилась кобылья голова под лавку, три года жила, пила, ела, мужика папашей звала.

Как на третий год выкатилась кобылья голова из-под лавки и говорит мужику:

– Папаша, а папаша, я жениться хочу!

Испугался мужик, однако делать нечего.

– На ком же ты, – спрашивает, – кобылья голова, жениться хочешь?

– А так что, – говорит, – иди ты во дворец и сватай за меня царскую дочку.

Потужил мужик, потужил, однако делать нечего. Пошел во дворец.

А во дворце царская дочка жила. Красавица-раскрасавица. Носик у ей востренький, а глаза маленькие, что серпом прорезаны.

И живет она богато-богатеюще.

Все-то у нее есть, что только ее душеньке угодно. Пьет она вино шампанское, ест она масло параваское, пряником непечатным закусывает. А платье на ней с тремя оборками и Манчестером отделано.

А во дворце-то палаты огромные, ни пером описать. Сам царь от стула до стула на тройке ездит.

⁴ Вильгельм спит у своей новой возлюбленной! (нем.)

⁵ Это так поэтично (фр.).

А и слуг во дворце видимо-невидимо. В каждом углу по пятьсот человек ночует.

Стал старик царскую дочку за кобылью голову сватать.

Потужил царь, потужил, однако видит, делать нечего. Отдал дочку за кобылью голову.

Стали свадьбу играть, пошел пир горой. Поставил царь и соленого, и моченого, и жареного, и вареного, а старику подарил со своего царского плеча лапотки новехонькие да кафтан золоченый на бумазее стеганый, и палаты каменные, и пирога кромку.

Пошел старик к своей старухе. Стали они жить-поживать да детей наживать. По усам текло, а в рот не попало!»

– C'est fantastique!⁶ – хрюкнул молодой человек, зажав рот рукой.

– Тсс! Revenons⁷ в гостиную!

⁶ Это фантастично! (фр.)

⁷ Вернемся (фр.).

Страшный ужас (Рождественский рассказ)

Кто не знает страшных рождественских метелей, когда завывание ветра смешивается со свистом бури, когда облака как будто хотят сесть на землю, когда все богатое торжествует на елках, а бедняки замерзают у дверей своих обеспеченных соседей, причиняя этим им неприятность!..

Самый яркий вымысел рождественского фельетониста, сдобренного хорошим авансом, бледнеет перед действительностью.

Николай Коньков! Маленький ребенок – Коля Коньков, замерзший и занесенный снегом в лютую рождественскую ночь!

О нем хочу я вам рассказать.

Николай Коньков был ребенком (кто из нас не был ребенком?).

Он был, собственно говоря, даже более чем ребенок, так как ему было уже тридцать пять лет, когда он приехал в Петербург в одну из вышеописанных ужасных рождественских ночей.

Правда – ни мороза, ни метели в эту ночь не было, так как дело происходило в середине июля месяца.

Да и ночи, собственно говоря, тоже никакой не было: поезд пришел ровно в 10 утра.

Но что же из этого?

Приехал он из своего имения освежиться. В городе есть особая свежесть, которой в деревне ни за какие деньги не достанешь.

Коньков ездил обыкновенно за свежестью в Москву, в Петербурге же был новичком и потому с девственной беспечностью доверился извозчику.

Тот привез его в меблированные комнаты на Пушкинской. Коньков сунул швейцару свой чемодан и побежал искать парикмахерскую.

Он был франт.

Вышел из парикмахерской и шел домой, насвистывая, ровно ничего не подозревая.

А домой-то он и не попал!

В Петербурге каждому ребенку известно, что вся Пушкинская сплошь состоит из меблированных комнат, до такой степени друг на друга похожих, что самый опытный глаз легко может их перепутать. А неопытный и того пуще.

У Конькова глаз был неопытный и завел его не в те номера. Коридорный выяснил ошибку и вывел его на улицу.

Коньков осмотрелся и пошел в дом, что напротив.

– Вам кого? – спросил швейцар.

– Господин Коньков не здесь ли остановился?

– Нет-с. У нас таких нет.

Коньков завернул в соседний подъезд.

– Не здесь ли господин Коньков?

– А какие они из себя будут?

– Да такой... симпатичный, – с чувством ответил Коньков. – Симпатичный, среднего роста. Вроде меня.

– Нет, такого не видали!

– Гм... а ведь он у вас паспорт оставил...

Коньков упал духом.

«И так еще хорошо, дом запомнил!... Подъезд, а слева ворота, а у ворот мальчик стоит».

Он сунулся еще в один подъезд, но швейцар сказал ему сухо:

– Как вы туточа уже два раза были, так я един дух дворников крикну. А в участке живо разберут, кто кому Коньков.

Есть натуры, которые не теряются в минуты самой грозной опасности.

Не растерялся и Коньков. Он нанял извозчика и поехал к Палкину завтракать.

Народу в ресторанах было мало. Рядом за столиком сидел толстый господин и, поглядывая на Конькова, с чувством повторял:

– Ч-черт!

Заметив это, Коньков, как человек воспитанный, встал и представился.

– Чучело! – завопил господин. – Да ведь я Данилов! Мишка Данилов! Вместе в полку служили.

– А! И давно ты здесь?

– Да уж третий год.

– Третий год у Палкина? Ну, и штучка же ты!

– В Петербурге третий год, а не у Палкина. Вместе обедать будем?

– Не могу. Занят по горло. Еду в адресный стол узнавать, где я живу.

Рассказал свое горе. Данилов помог советом. Утешал и успокаивал:

– Ты, братец, не торопись. Все равно за это время они все твои вещи раскрали. А ночуй у меня. Третья рота, дом 5, квартира 73. Сам я вернусь поздно, а ты располагайся. Скажи прислуге, чтоб тебе в кабинете постелили.

В три часа ночи изрядно освежившийся Коньков разыскал пятый дом в третьей роте.

– Б-барин велел постелить в каб-бинете... – пролепетал он перед изумленной горничной.

Спал хорошо. Проснулся около двенадцати.

В доме было тихо. В приотворенную дверь высматривало круглое бритое стариковское лицо с седоватыми усами. Под лицом виднелась военная тужурка.

– А! Вы проснулись! – сказала лицо и вошло в комнату.

– Как видите, – зевнул Коньков и закурил папиросу. Гость подошел и как-то сконфуженно присел на кончик кровати. Конькову захотелось подбодрить его.

– А вы что же... Тоже здесь ночевали?

– Да-с... и я тоже. Я здесь уже четвертый месяц... ночью...

– Ишь! И не гонит он вас, ха-ха?

– Кто?

– Да хозяин.

– Зачем же ему гнать? Ведь я плачу. Шестьдесят пять рублей...

– Шестьдесят пять? Вот выжига! Столько драть! Он эдак скоро разбогатеет.

– У него и так два дома, – сказал старичок.

– Два дома! А он молчит! Я, признаюсь, сам заметил, когда он еще селедку ел. Что-то такое, эдакое... А ведь все-таки он болван! Ведь болван – Мишка Данилов? А?

Старичок словно обиделся:

– Ну, знаете, уж об этом судить не берусь.

Коньков знал людей и подумал:

«Лебеза, подлиза приживальная! Знаем мы вас!» – И спросил:

– А что, он уже встал?

– Кто?

– Да хозяин.

– А я-то почему знаю!

– И чудак же вы! В одном доме живете и ничего не знаете!

– И вовсе не в одном доме. Он на Сергиевской живет.

– Мишка Данилов? – Старичок чуть не заплакал.

– Да не Мишка, господи! Домовладелец мой на Сергиевской живет. Купец Каталов. Господи! Страдаю исключительно от своей деликатности!

Коньков усмехнулся и стал одеваться.

– Это вы-то?

– Ну, а я! Другой выгнал бы вас давно! Залез в чужой дом и спит! И спи-ит!

– Па-азвольте! Меня сам Данилов пригласил...

Старичок похлопал его по плечу и той же рукой показал вверх.

– Там Данилов! Там! Поняли?

– Умер? – догадался Коньков и сразу взял себя в руки, чтоб не малодушничать...

– Наверху он! – надрывался старичок. – Наверху живет. В третьем этаже. А я Карасев в отставке. Карасе-ев! Господи!

Страшно в рождественскую ночь, когда смерть, обнявшись с бурей, танцует и гикает, взвиваясь снежным вихревым костром... В рождественскую ночь вспомним о бесприютных.

Сокровище земли

Люди очень гордятся, что в их обиходе существует ложь.

Ее черное могущество прославляют поэты и драматурги.

«Тьмы низких истин нам дороже нас возвышающий обман», – думает коммивояжер, выдавая себя за атташе при французском посольстве.

Но, в сущности, ложь, как бы ни была она велика, или тонка, или умна, – она никогда не выйдет из рамок самых обыденных человеческих поступков, потому что, как и все таковые, она происходит от причины и ведет к цели. Что же тут необычайного?

Гораздо интереснее та удивительная психологическая загадка, которая зовется враньем.

Вранье отличается от лжи, с которой многие профаны во вральном деле его смешивают, тем, что, не неся в себе ни причины, ни цели, в большинстве случаев приносит изобретателю своему только огорчение и позор – словом, чистый убыток.

Отцом лжи считается дьявол. Какого происхождения вранье и кто его батька, никому не известно.

Настоящее, типическое вранье ведется так бестолково, что, сколько ни изучай его, никогда не будешь знать основательно, как и кем именно оно производится.

Врут самые маленькие девочки, лет пяти, врут двенадцатилетние кадеты, врут пожилые дамы, врут статские советники, и все одинаково беспричинно, бесцельно и бессмысленно. Но как бы неудачно ни было их вранье, можно всегда констатировать необычайно приподнятое и как бы вдохновенное выражение их лиц во время врального процесса.

Вранье всегда интересовало меня как нечто загадочное и недостижимое для меня; практически я только раз познала его, причем потерпела полное фиаско.

Было мне тогда лет одиннадцать, и училась я в одном из младших классов гимназии. И вот однажды учитель русской словесности, желая, вероятно, узнать, насколько связно могут его ученицы излагать свои мысли в повествовательной форме, спросил:

– Кто из вас может рассказать какое-нибудь приключение из времен своего раннего детства?

Никто не решался.

Тогда учитель вызвал первую ученицу, и после долгих усовещеваний она со слезами на глазах пробормотала, что у нее в детстве было только одно приключение: она съела краски, принадлежавшие старшему брату.

Учитель был недоволен:

– Ну, что это за приключение! И главное – что за рассказ! Разве так надо рассказывать? И неужели же никто из целого класса не может припомнить и изложить никакого происшествия из своего детства?

Вот тут-то на меня и накатила великий дух вранья.

Прежде чем я сообразила, что со мной делается, я уже стояла перед учителем и, глядя ему прямо в лицо честными глазами, говорила:

– Я могу рассказать.

Учитель обрадовался, долго хвалил меня и ставил всем в пример.

– Ну, а теперь слушаем.

И я начала свой рассказ.

Насколько я припоминаю, он был таков:

– Мне было всего два года, когда однажды ночью, проснувшись, я увидела страшное зарево. Наскоро одевшись...

– Да ведь вам всего два года было, как же вы сами оделись? – удивился учитель ловкости гениального ребенка.

– Я всегда спала полуодетая, – любезно пояснила я и продолжала:

– Наскоро одевшись, я выбежала во двор. Горели соседние дома, горящие бревна летали по воздуху...

– Ну-с? – сказал учитель.

Я почувствовала, что с него все еще мало.

– ...летали по воздуху. Вдруг я увидела на земле среди груды обломков лежащего мужика. Он лежал и горел со всех сторон. Тогда я приподняла его за плечи и оттащила в соседний лес; там мужик погасился, а я пошла опять на пожар.

– Ну? – опять сказал учитель.

– Пошла опять, и там огромное бревно упало мне на голову, а я упала в обморок. Вот и все. Больше ничего не помню.

Рассказывая свою повесть, я вся так горела душой в никогда еще не испытанном экстазе, что долго не могла вернуться к прерванной жизни там, на второй скамейке у окна.

Все кругом были очень сконфужены. Учитель тоже. Он был хороший человек, и потому ему было так совестно, что он даже уличить меня не мог. Он низко нагнулся над классным журналом и, вздыхая, стал задавать уже заданный урок к следующему разу.

Чувствовала себя недурно только я одна. Мне было весело, как-то тепло, и, главное, чувствовалось, что я одна права во всей этой скверной истории.

Только на другой день, когда по отношению подруг я поняла, что дело мое не выгорело, я приуныла, потускнела, и прекрасное вральное вдохновение покинуло меня навсегда.

Как часто, разговаривая с незнакомыми людьми на пароходах, на железной дороге, за табльдотом, думаешь: вот бы теперь приврать чего-нибудь повкуснее. Нет! Подрезаны мои крылышки. Слушаю, как врут другие, любуюсь, завидую горько, а сама не могу. Вот как отравляет душу первое разочарование!

Хорошо врут маленькие девчонки.

Одна пятилеточка рассказывала мне, что она знала собачку, «такую бедную, несчастную», – все четыре ножки были у нее оторваны.

И каждый раз, когда собачка мимо пробегала, девочка от жалости плакала. Такая бедная была собачка!

– Да как же она бегала, когда у нее ни одной ноги не было? – удивилась я.

Девочка не задумалась ни на минуту:

– А на палочках.

И глаза ее смотрели честно и прямо, и уголки рта чуть-чуть дрожали от жалости к собачке.

Глубокую зависть возбуждала во мне одна добрая провинциальная дама. Врала она бескорыстно, самоотверженно, с неистовством истинного вдохновения и, вероятно, наслаждалась безгранично.

– У меня в гостиной, когда я жила в Харькове, были огромные зеркала. Гораздо выше потолка! – рассказывала она и вдруг спрашивала:

– Как вы думаете, сколько стоит вот эта мебель, что у меня в будуаре?

– Рублей двести... Не знаю.

– Пятнадцать рублей! – отчеканивает она.

– Быть не может! Два дивана, четыре кресла, три стула!

– Пятнадцать рублей!

Глаза ее горят, и все лицо выражает восторг, доходящий до боли.

– Пятнадцать рублей. Но зато вот этот стул, – она указывает на один из трех, – стоит тридцать пять.

– Но почему же? Ведь он, кажется, такой же, как и другие?

– Да вот, подите! На вид такой же, а стоит тридцать пять. Там у него, внутри сиденья, положена пружина из чистого мельхиора. Они очень неудобны, эти пружины, на них ведь совсем и сидеть нельзя. Чуть сядешь – адская боль.

– Так на что же они тогда, да еще такие дорогие?

– А вот, подите!

Она даже вспотела и тяжело дышала, а я думала:

«Ну к чему она так усердствует? Чего добивается? Если она хотела прихвастнуть дорогим стулом, чтобы я позавидовала: вот, мол, какая она богатая, – тогда зачем же было сочинять, что вся мебель стоит пятнадцать рублей? Здесь, очевидно, не преследовалась цель самовозвеличения или самовосхваления. Откуда же это все? Из какого ключа бьет этот живой источник?»

Встречала я и вранье совсем другого качества – вранье унылое, подавленное. Производил его, и вдобавок в большом количестве, один очень степенный господин, полковник в отставке.

Лицо у него, как у всех вралей-специалистов, носило отпечаток исключительной искренности.

«Это какой-то фанатик правды!» – думалось, глядя на его выпученные глаза и раздутые ноздри.

Врал он так:

– Если яйцо очень долго растирать с сахаром, то оно делается совершенно кислым, оттого что в нем вырабатывается лимонная кислота! Это испробовал один мой товарищ в 1886 году.

Или так:

– В стерлядях масса икры. Бывало, на Волге в 1891 году, поймал крошечную фунтовую стерлядку, вспорешь ее ножом, а в ней фунтов десять свежей икры. Шутка сказать!

Или так:

– Я этого Зелим-хана еще ребенком знал. Придет, бывало, к нам, весь дом разграбит – мальчишка шести лет. Уж я его сколько раз стыдил в 1875 году. «Ну что из тебя, – говорю, – выйдет!» Нет, ни за что не слушался.

Все это рассказывалось так безнадежно уныло, и чувствовалось, что рассказчик до полного отчаяния не верит ни одному своему слову, но перестать не может. Точно он необдуманно подписал с каким-то чертом контракт и вот теперь, выбиваясь из сил, выполняет договор.

Если оборвать этого несчастного – он покраснеет, замолчит и только посмотрит с укором: «За что мучаешь? За что обижаешь? Разве я виноват?» И стыдно станет.

Ему я никогда не завидовала. Его работа тяжела и неувлекательна. Но опять-таки откуда она? Зачем? Кто ее заказал?

И делается досадно, что вся эта энергия, для чего-то с такой силой вырабатываемая, пропадает даром.

Но верю, что это недолго протянется. Верю, что придет гений, изучит эту энергию, поставит, где нужно, надлежащие приборы и станет эксплуатировать великую вральную силу на пользу и славу человечеству.

Почтенный полковник получит штатное место, и, может быть, энергией его вранья будут вращаться десятки жерновов, водяных турбин и ветряных мельниц.

И дама с мебелью, и девочка с собачкой, и гимназист, уверявший, что в их классе Петров 4-й такой легкий, что может два часа продержаться на воздухе, и еще сотня безвестных тружеников найдут применение распирающей их силе.

И как знать: еще десять, двадцать лет – и, может быть, бросив ненужное и дорогое электричество, мы будем освещаться, отопляться и передвигаться при помощи простой вральной энергии – этого таинственного сокровища земли. Ах, сколько еще богатств у нас под руками, и мы не умеем овладеть ими!

За стеной

Кулич положительно не удался. Кривой, с наплывшей сверху коркой, облепленный миндалинами, он был похож на старый, гнилой мухомор, разбухший от осеннего дождя. Даже воткнутая в него пышная бумажная роза не придала ему желанной стройности. Она низко свесила свою алую головку, словно рассматривая большую заплатку, украшавшую серую чайную скатерть, и еще более подчеркивала кособокость своего пьедестала.

Да, кулич не удался. Но все точно молча сговорились не придавать значения этому обстоятельству. Да оно и вполне понятно: мадам Шранк, как хозяйке дома, невыгодно было бы указывать на недостатки своего угощения, мадам Лазенская была гостьей, приглашенной разговляться, и, как водится, должна была все находить превосходным. Что же касается кухарки Аннушки, то уж ей положительно не было никакого расчета обращать внимание на свою собственную оплошность.

Прочее же угощение не оставляло желать ничего лучшего: нарезанная маленькими кусочками ветчина, чередуясь с ломтиками копченой колбасы, изображала на тарелке двухцветную звезду. Жареная курица, раскинувшись в самой беззащитной позе, показывала, что она начинена рисом. Маленькая сырная пасха была на вид довольно неказиста, но зато так благоухала ванилью, что нос мадам Лазенской сам собой поворачивался в ее сторону. Выкрашенные в яркие цвета яйца оживляли всю картину.

Мадам Лазенская уже давно была не прочь приступить к закуске. Она старалась из приличия не смотреть на стол, но все ее маленькое острое личико со взбитыми жиденькими волосами и грязной лиловой ленточкой на сморщенной шее выражало напряженное ожидание. Приподняв безволосые, подчеркнутые спичкой брови, она то с интересом разглядывала покрытую вязаной салфеткой этажерку, которую видела ежедневно в продолжение девяти лет, то, опустив глаза и собрав в комочек беззубый рот, скромно теребила обшитый рваным кружевом носовой платочек.

Хозяйка, толстая брюнетка, с обвисшими, как у сердитого бульдога, щеками, важно ходит вокруг стола, разглаживая серый вышитый передник на своем круглом животе. Она прекрасно понимает состояние мадам Лазенской, питавшейся весь пост печеным картофелем без масла, но напускное равнодушие сердит ее, и она нарочно томит свою гостью.

– Еще рано, – гудит ее могучий бас. – Еще в колокол не ударили.

Она говорит с сильным немецким акцентом, выставляя вперед толстую верхнюю губу, украшенную черными усиками.

Гостья молча теребит платочек, затем заводит разговор на посторонние темы.

– Завтра, наверно, получу письмо от Митеньки. Он мне всегда на Пасху присылает денег.

– И глупо делает. Все равно на духи растранжирите. Кокетка!

Мадам Лазенская заискивающе смеется, сложив рот трубочкой, чтобы скрыть отсутствие передних зубов.

– Хю-хю-хю! Ах, какая вы насмешница!

– Я правду говорю, – гудит поощренная хозяйка. – К вам в комнату войдешь – как палкой по носу. И банки, и склянки, и флаконы, и одеколоны – настоящая обсерватория.

– Хю-хю-хю! – свистит гостья, бросая кокетливый взгляд на этажерку. – Женщина должна благоухать. Тонкие духи действуют на сердце... Я люблю тонкие духи! Нужно понюхать. Вербена – запах легкий и сладкий; амбр-рояль – густой. Возьмите две капельки амбре, одну капельку вербены и получите дух настоящий... настоящий, – она пожевала губами, ища слова, – земной и небесный. А то возьмите основной дух Трефль инкарнат, пряный, точно с корицей, да в него на три капли одну белого ириса... С ума сойдете! Прямо с ума сойдете!

– Зачем мне с ума сходить, – иронизирует мадам Шранк. – Я лучше схожу к Ралле, куплю цветочный одеколон.

– Или возьмите нежную Икзору, – не слушая, продолжает фантазировать мадам Лазенская, – а к ней подлейте одну каплю тяжелого Фужеру...

– Я всяко ж больше всего люблю ландыш, – перебивает ее густой бас хозяйки, решившей, что пора наконец показать, что и она кое-что в духах смыслит.

– Ландыш? – удивляется гостья. – Вы любите ландыш? Хю-хю-хю! Ради бога никому не говорите, что вы любите ландыш! Ах, боже мой! Да вас засмеют! Хю-хю-хю! Ландыш! Пошлость какая!

– Ах, ах! Какие нежности! – обижается мадам Шранк. – Как все это важно! Ума большого не вижу, чтобы морить себя голодом – на духи деньги копить! Ужасная прелесть – аромат на три комнаты, а лицо с кулачок.

Мадам Лазенская, низко нагнув голову, отчищает ногтем какое-то пятнышко на своей кофточке. Видны только большие ярко-малиновые уши.

– Пора, – заявляет наконец хозяйка, усаживаясь за стол. – Аннушка! Тащи кофей!

Мадам Шранк звонков в комнатах не признавала. Голос ее гудел, как китайский гонг, и был слышен одинаково хорошо во всех углах и закоулках маленькой квартирки. Часто случалось, что она, прибирая в передней, ворчит, а кухарка из кухни подает ей во весь голос реплики. Для того, чтобы разговаривать с мадам Шранк, вовсе не нужно было находиться с ней в одной комнате.

– Тащи скорей!

Вдали раздался грохот упавшей кочерги, визг собачонки, и в дверях показалась мощная фигура Аннушки, в ярко-красной кофте, стянутой старым офицерским поясом. Натертые ради праздника свеклой круглые щеки соперничали колоритом с лежавшими на блюде пасхальными яйцами. Волосы грязно-серого цвета были жирно напмажены и взбиты в высокую прическу, увенчанную розеткой из гофрированной зеленой бумажки с аптечного пузырька. Скромно опустив глаза, словно стыдясь своей собственной красоты, поставила Аннушка поднос с кофейником и чашками.

– Надень передник, чучело! – мрачно загудела мадам Шранк. – Кто тебе позволил воронье гнездо на голове завивать? Взгляните, мадам Лазенская, как она себе щеки нащипала! Га-га-га!

– Хю-хю-хю! – свистит птицей мадам Лазенская.

– И неправда, и не думала щипать, – оправдывается Аннушка, осторожно водя по лицу рукавом платья. – Ей-богу! Вон образ-то на стене... Ей-богу, от жары. Кулич пекла, кури жарила... В кухне такое воспаление.

Она уходит, сердито хлопнув дверью.

– Каково! – возмущается хозяйка. – Нельзя слова сказать! Это называется прислуга! Накрасится, волосы размочалит, и не подступись к ней. И каждое воскресенье так. Как все уйдут – сейчас щеки намажет, офицерский кушак напялит и давай обедню петь. А я нарочно вернусь, открою дверь своим ключом и все в передней слушаю. Часа два поет во все горло: «Господи помилуй! Господи помилуй!» Ревет, как бык. Прямо у меня все нервы трещат. Еще какой-нибудь дурак-квартирант подумает, что это я так пою...

– Жалко Дашу, – вставляет мадам Лазенская, – та была гораздо скромнее.

– Н-ну! Каждый день новый уважатель. Все у них уважатели на уме!

Мадам Лазенская мнется и молчит.

– Удивительное дело, – продолжает хозяйка, разрезая курицу. – Все у них уважатели. Ну, Аннушка, та, по крайней мере, со двора не ходит...

– Завтра пойду, – раздается вопль из кухни. – Хоть зарежьте, пойду... Перед людьми стыдно! И так старший дворник проходу не дает. Когда же ты, говорит, ведьма, со двора пойдешь? Первый раз, говорит, такого черта вижу, что никогда со двора не ходит.

– Каково! – удивляется хозяйка. – Куда же ты пойдешь, у тебя здесь никого нет?

– Мало ли куда... На кладбище пойду на какое-нибудь. У нас в деревне, как праздник, все на кладбище идут. Нашли тоже дуру, – не знаю я, куда идти! Почти все других знаю!

– Перестань орать, у меня от тебя нервы трещат!

Мадам Шранк подходит к буфету и, повернувшись спиной к мадам Лазенской, что-то переставляет, тихо звеня рюмками. Затем слегка откидывает голову назад и, заперев буфет, возвращается на место, смущенно покашливая. Гостья все время внимательно рассматривает этажерку.

Она давно знакома с этим маленьким маневром и знает, что, проделав его, мадам Шранк становится необыкновенно патриотичной и любит говорить о Германии, которую никогда и в глаза не видала, так как родилась и выросла в Петербурге. Мадам Лазенская в таких случаях немножко обижается за Россию и старается замять разговор. Противоречить она не смеет, чувствуя себя всегда виноватой перед своей усатой собеседницей. Дело в том, что, занимая у мадам Шранк крошечную комнатку, она часто не может заплатить за нее в срок, и мадам Шранк снисходительно допускает рассрочку.

– Подобной прислуги в Берлине не бывает, – укоризненно говорит хозяйка, отправляя в рот большой кусок ветчины.

Гостья молчит, подбирая вилкой рис.

Мадам Шранк долго придумывает, что бы ей сказать неприятного:

– Вы что молчите? Верно, мечтаете, какие духи на Митенькины деньги покупать будете? Охота ему посылать! Есть еще на свете глупые сыновья! После вас ведь ему ничего не останется. А что от отца осталось, то вы в три года успели фю-ю по ветру...

Лицо мадам Лазенской покрывается пятнами.

– Знаете, мадам Шранк, – быстро перебивает она. – Я сегодня видела красное сукно, точно такого цвета, как у меня амазонка была. Помните, я вам рассказывала? Ну, точь-в-точь, точь-в-точь...

– Еще бы вам не знать амазонку, когда вы в три года двадцать тысяч с офицерами верхом проскакали.

– Хю-хю-хю! – лебезит гостья, желая умиловить обличительницу.

– Вы чего смеетесь?

– Так, я вспомнила смешное, – пугается мадам Лазенская, – вы вчера рассказали про того старика...

Лицо мадам Шранк медленно растягивается в улыбку; глаза щурятся, углы рта глубоко въезжают в мягкие щеки.

– Го-го-го! «Позвольте, сударыня, вас проводить...» Оборачиваюсь: Господи! Ножки тоненькие, еле стоит, обеими руками за палку держится... Нос синий – весь бровь седой... «Вы? Меня провожать? Вам нужно скорей домой бежать». Он на меня глаза выпучил, ничего не понимает... «Бегите, говорю, домой – вам умирать пора, скорей бегите!» Га-га-га! А он как заплелся, га-га-га! – ужасно рассердился.

– Ох, перестаньте! Хю-хю-хю! Ох, вы меня уморите! Хю-хю-хю! Ах, уж эта мне мадам Шранк, всегда что-нибудь!..

– Скорей, говорю, торопитесь. Всяко ж неприятно, если на улице...

– Ох! Хю-хю-хю!..

– Ну, перестаньте, мадам Лазенская! С вас вся пудра обсыпалась.

Обе дамы, несмотря на десятилетнее совместное сожительство, никогда не звали друг друга по имени. Как-то одна из родственниц мадам Шранк спросила у нее, как имя ее жилички,

и та, к своему собственному удивлению, призналась, что никогда не полюбопытствовала узнать об этом.

– Ах, эти мужчины! – томно вздыхает мадам Лазенская. – Мне Лизавета Ивановна рассказывала...

– Все врет ваша Лизавета Ивановна, – вдруг вспыхивает порохом хозяйка. – И ничего она рассказывать не может на своем чухонском языке. Сегодня увязалась со мной в мясную, руками машет, кричит, мне перед прохожими стыдно. Переходим через улицу, я говорю: «Идите скорее», а она как завизжит: «Не могу скорей, на меня лошади наступили». Прямо срам! Ну, сказала бы: «Извините, мадам Шранк, я нахожусь в большом толпа лошадей». Столько лет живет в Петербурге, говорить не умеет. Чухонка!

Мадам Лазенской очень хочется попробовать колбасы, но она боится заявить о своем желании, когда хозяйка так расстроена, и снова меняет тему разговора.

– Да, эти мужчины, прямо такие... такие...

Мадам Шранк настораживается, как дрозд, которому подсвистнули знакомый мотив.

– Скушайте колбасы! Что вы так мало? Всяко ж мужчины презабавный народ. Был у меня один нахлебник – молодой, красивый, адмирала сын. Он сам из Харькова, в Петербург приехал экзамен на генерала держать на штатского... У вас, говорит, мадам Шранк, на щеках розы лепестки...

– Он при мне, кажется, не приходил?

– Нет, он года за два до вас был. Га-га!.. Розы лепестки!

– Чудное средство от морщин – помада крем-симон, – некстати вставляет мадам Лазенская. – Вы попробуйте, мадам Шранк. Это прямо удивительно, как она действует на кожу! Я всю жизнь ничего, кроме крем-симон, не употребляла. Каждое утро и каждый вечер немножко на ватку и потом вот так втирать... Вы непременно должны...

– Га-га-га! – добродушно колышется хозяйка. – Если бы вы мне не сказали, что вы ее употребляете, может быть, я бы и попробовала. А уж как предупредили, – покорно благодарю. Уж больше морщин, как на вашем лице, никогда в жизни не видывала! Ей-богу, мадам Лазенская, уж вы не обижайтесь, – никогда в жизни!

Гостья краснеет и криво улыбается.

– И всяко ж вы транжирка, – продолжает хозяйка. – Деньги нельзя на всякие там симоны да ликарноны тратить. Деньги нужно копить. Вот когда муж был жив да у меня в ушах бриллианты с кулак болтались, поверьте, совсем иначе ко мне люди относились. Что ни скажу – все умно было. Теперь небось никто не кричит про мой ум, а как вспомню, так и тогда все одни глупости говорила. Деньги – великое дело. Будь у вас деньги, вы бы тоже умнее всех были, и полковники бы у вас в гостях сидели, и приз бы за красоту получили.

Мадам Лазенская, расцветая кокетливо-смущенной улыбкой, оправляет на шее лиловую ленточку, а мадам Шранк снова подходит к буфету и звенит рюмками...

– У нас, в Берлине, умеют деньги ценить. У нас в Берлине все умеют. Откуда на Невском электрические фонари? От немцев! Откуда дома большие? Немцы выстроили. И материи, и шелк, и всякие науки – история, география – все от немцев, все они выдумали!

Мадам Лазенская краснеет и бледнеет. Ей хочется возразить, но она не знает, что сказать, и, кроме того, она еще не попробовала пасхи, а после политических споров приличие требовало удалиться в свою комнату.

– Как у вас искусно сделана эта розочка в куличе, прямо хочется понюхать, – говорит она дрожащими губами.

Мадам Шранк, зловеще помолчав, вдруг сообщает:

– Лизаветы Ивановны жилец читал в газетах, что в Берлине было большое землетрясение. Очень большое. У русских никогда не бывает землетрясения.

Это было слишком много даже для мадам Лазенской. Она вдруг вся задрожала и покрасилась красными пятнами.

– Неправда! Неправда! – закричала она тоненьким, прерывающимся визгом. – В России несколько раз было землетрясение. В Верном было...

– Это не считается, – деланно спокойным басом говорит хозяйка, – это за Балканским морем, это уже не натуральная Россия...

– Неправда! – судорожно трясет кулачком мадам Лазенская. – Это вы нарочно... Вы думаете, что я бедная, так у меня нет отечества!.. Стыдно вам! Все знают, что у русских было землетрясение! Это нечестно! Вы все врете! Вы про старика уж пятый год рассказываете и всегда говорите, что это на днях было. Стыдно вам!

Она вскочила и, быстро затопав каблучками, натываясь на стулья, побежала в свою каморку и заперлась на крючок.

В каморке было тихо, и через открытую форточку вместе с крепким и влажным запахом весны протяжно вливался тихий гул пасхального благовеста. Он томил и тревожил душу, как отзвук далекой чужой радости, и тихо колебал воздух глубокими тяжелыми волнами.

За окном – стена, начинающаяся где-то далеко внизу, уходила высоко в тусклое небо, бесконечная, гладкая, серая...

В каморке было тихо, и никто не мешал мадам Лазенской выплакаться. Она плакала долго, низко опустив голову и упершись локтями в подоконник. Потом, когда слезы иссякли и чувство острой обиды притупилось и успокоилось, она встала, подошла к комоду и, выдвинув верхний ящик, вытащила завернутый в шелковую тряпочку флакон. Она осторожно вынула пробку и медленно потянулась носом вперед, вдыхая содержимое вздрагивающими ноздрями. Затем снова заботливо завернула флакон и тихо и ласково, словно спеленутого ребенка, уложила его на прежнее место. Медленно, еще дрожащей после волнения рукой, придвинула она коробочку с пудрой и, обтерев пуховкой лицо, развесила на спинке стула мокрый носовой платок, тщательно расправив рваные кружева.

– Аннушка, – загудел вдали голос мадам Шранк, – скажи мадам Лазенской, пусть идет пить кофе, когда у нее дурь пройдет. Я не могу всю ночь ждать. Здесь вот пасхи кусок. Остальное снеси на холод. Я спать иду. У меня у самой нервы трещат.

Сердце мадам Лазенской громко застучало. Она знает, что Аннушка давно спит и что хозяйка говорит нарочно для того, чтобы она, Лазенская, услышала.

Она тихонько подкрадывается к двери и прислушивается, выжидая ухода мадам Шранк, чтобы выйти в столовую. Стена за окном чуть-чуть розовеет под первыми алыми лучами восходящего солнца. Рассветный живой ветерок дерзко стукнул форточкой и, пробежав легкой струйкой, колыхнул сохнувший на стуле платочек.

Демоническая женщина

Демоническая женщина отличается от женщины обыкновенной прежде всего манерой одеваться. Она носит черный бархатный подрясник, цепочку на лбу, браслет на ноге, кольцо с дыркой «для цианистого кали, который ей непременно пришлют в следующий вторник», стилет за воротником, четки на локте и портрет Оскара Уайльда на левой подвязке.

Носит она также и обыкновенные предметы дамского туалета, только не на том месте, где им быть полагается. Так, например, пояс демоническая женщина позволит себе надеть только на голову, серьгу на лоб или на шею, кольцо на большой палец, часы на ногу.

За столом демоническая женщина ничего не ест. Она вообще никогда ничего не ест.

– К чему?

Общественное положение демоническая женщина может занимать самое разнообразное, но большею частью она – актриса.

Иногда просто разведенная жена.

Но всегда у нее есть какая-то тайна, какой-то не то надрыв, не то разрыв, о котором нельзя говорить, которого никто не знает и не должен знать.

– К чему?

У нее подняты брови трагическими запятыми и полуопущены глаза.

Кавалеру, провожающему ее с бала и ведущему томную беседу об эстетической эротике с точки зрения эротического эстета, она вдруг говорит, вздрагивая всеми перьями на шляпе:

– Едем в церковь, дорогой мой, едем в церковь, скорее, скорее, скорее. Я хочу молиться и рыдать, пока еще не взошла заря.

Церковь ночью заперта.

Любезный кавалер предлагает рыдать прямо на паперти, но «она» уже угасла. Она знает, что она проклята, что спасенья нет, и покорно склоняет голову, уткнув нос в меховой шарф.

– К чему?

Демоническая женщина всегда чувствует стремление к литературе.

И часто втайне пишет новеллы и стихотворения в прозе. Она никому не читает их.

– К чему?

Но вскользь говорит, что известный критик Александр Алексеевич, овладев с опасностью для жизни ее рукописью, прочел и потом рыдал всю ночь и даже, кажется, молился – последнее, впрочем, не наверное. А два писателя пророчат ей огромную будущность, если она наконец согласится опубликовать свои произведения. Но ведь публика никогда не сможет понять их, и она не покажет их толпе.

– К чему?

А ночью, оставшись одна, она отпирает письменный стол, достает тщательно переписанные на машинке листы и долго оттирает резинкой начерченные слова: «Возвр.», «К возвр.».

– Я видел в вашем окне свет часов в пять утра.

– Да, я работала.

– Вы губите себя! Дорогая! Берегите себя для нас!

– К чему?

За столом, уставленным вкусными штуками, она опускает глаза, влекомые неодолимой силой к заливному поросенку.

– Марья Николаевна, – говорит хозяйке ее соседка, простая, не демоническая женщина, с серьгами в ушах и браслетом на руке, а не на каком-нибудь ином месте, – Марья Николаевна, дайте мне, пожалуйста, вина.

Демоническая закрывает глаза рукою и заговорит истерически:

– Вина! Вина! Дайте мне вина, я хочу пить! Я буду пить! Я вчера пила! Я третьего дня пила и завтра... да, и завтра я буду пить! Я хочу, хочу, хочу вина!

Собственно говоря, чего тут трагического, что дама три дня подряд понемножку выпивает? Но демоническая женщина сумеет так поставить дело, что у всех волосы на голове зашевелиятся.

– Пьет.

– Какая загадочная!

– И завтра, говорит, пить буду...

Начнет закусывать простая женщина, скажет:

– Марья Николаевна, будьте добры, кусочек селедки. Люблю лук.

Демоническая широко раскроет глаза и, глядя в пространство, завопит:

– Селедка? Да, да, дайте мне селедки, я хочу есть селедку, я хочу, я хочу. Это лук? Да, да, дайте мне луку, дайте мне много всего, всего, селедки, луку, я хочу есть, я хочу пошлости, скорее... больше... больше, смотрите все... я ем селедку!

В сущности, что случилось?

Просто разыгрался аппетит и потянуло на соленькое! А какой эффект!

– Вы слышали? Вы слышали?

– Не надо оставлять ее одну сегодня ночью.

– А то, что она, наверное, застрелится этим самым цианистым кали, которое ей принесут во вторник...

Бывают неприятные и некрасивые минуты жизни, когда обыкновенная женщина, тупо уперев глаза в этажерку, мнет в руках носовой платок и говорит дрожащими губами:

– Мне, собственно говоря, ненадолго... всего только двадцать пять рублей. Я надеюсь, что на будущей неделе или в январе... я смогу...

Демоническая ляжет грудью на стол, подопрет двумя руками подбородок и посмотрит вам прямо в душу загадочными, полужакрытыми глазами:

– Отчего я смотрю на вас? Я вам скажу. Слушайте меня, смотрите на меня... Я хочу – вы слышите? – я хочу, чтобы вы дали мне сейчас же, – вы слышите? – сейчас же двадцать пять рублей. Я этого хочу. Слышите? – хочу. Чтобы именно вы, именно мне, именно дали, именно двадцать пять рублей. Я хочу! Я твварь!.. Теперь идите... идите... не оборачиваясь, уходите скорей, скорей... Ха-ха-ха!

Истерический смех должен потрясть все ее существо, даже оба существа – ее и его.

– Скорей... скорей, не оборачиваясь... уходите навсегда, на всю жизнь, на всю жизнь... Ха-ха-ха!

И он «потрясется» своим существом и даже не сообразит, что она просто перехватила у него четвертную без отдачи.

– Вы знаете, она сегодня была такая странная... загадочная. Сказала, чтобы я не оборачивался.

– Да. Здесь чувствуется тайна.

– Может быть... она полюбила меня...

– Тайна!

Концерт

Начинающий поэт Николай Котомко сильно волновался: первый раз в жизни он был приглашен участвовать в благотворительном концерте. Дело, положим, не обошлось без протекции: концерт устраивало общество охранения аптекарских учеников от никотина, а Котомко жил в комнате у вдовы Марухиной, хорошо знавшей двух помощников провизора.

Словом, были нажаты какие-то пружины, дернуты соответствующие нити, и вот юный, только что приехавший из провинции Котомко получил возможность показать столичной публике свое задумчивое лицо.

Пришедший приглашать его мрачный бородач нагнал страху немало.

– Концерт у нас будет, понимаете ли, блестящий. Выдающиеся таланты частных театров и пять – три звездочек. Понимаете, что это значит? Надеюсь, и вы нам окажете честь, тем более что и цель такая симпатичная!

Котомко обещал оказать честь и вплоть до концерта – ровно три недели – не знал себе покоя. Целые дни стоял он перед зеркалом, декламируя свои стихотворения. Охрип, похудел и почернел. По ночам спал плохо. Снилось, что стоит на эстраде, а стихи забыл, и будто публика кричит: «Бейте его, длинноносого!»

Просыпался в холодном поту, зажигал лампочку и снова зубрил.

Бородач заехал еще раз и сказал, что полиция разрешила Котомко прочесть два стихотворения:

Когда, весь погружаясь в мечтанья.
Юный корпус склоню я к тебе...

И второе:

Скажи, зачем с подобною тоскою,
С болезнью я гляжу порою на тебя...

Бородач обещал прислать карету, благодарил и просил не обмануть.

– А публики м-ного будет? – заикаясь, прошептал Котомко.

– Почти все билеты распроданы.

В день концерта бледный и ослабевший поэт, чтобы как-нибудь не опоздать, с утра завился у парикмахера и съел два десятка сырых яиц, чтобы лучше звучал голос.

Вдова Марухина, особа бывалая, понимавшая кое-что в концертах, часто заглядывала к нему в комнату и давала советы:

– Часы не надели?

– У меня н-нет часов! – стучал зубами Котомко.

– И не надо! Часов никогда артисты к концерту не надевают. Публика начнет вас качать, часы выскочат и разобьются. Руки напудрили? Непременно надо. У меня жила одна артистка, так она даже плечи пудрила. Вам, пожалуй, плечи-то и не надо. Не видно под сюртуком. А впрочем, если хотите, я вам дам пудры. С удовольствием. И вот еще совет: непременно улыбайтесь! Иначе публика очень скверно вас примет! Уж вот увидите!

Котомко слушал и холодел.

В пять часов, уже совершенно одетый, он сидел, растопыря напудренные руки, и шептал дрожащими губами:

Скажи, зачем с подобною тоскою...

В голове у него было пусто, в ушах звенело, в сердце тошнило.

– Зачем я все это затеял! – тосковал он. – Жил покойно... «с болезнью я гляжу»... жил покойно... нет, непременно подавай сюда славу... «с болезнью я порой»... Вот тебе и слава! «Юный корпус склоню я»... Опять не оттуда...

Ждать пришлось очень долго. Хозяйка высказала даже мнение, что о нем позабыли и совсем не приедут. Котомко обрадовался и даже стал немножко поправляться, даже почувствовал аппетит, как вдруг, уже в четверть одиннадцатого, раздался громкий звонок, и в комнату влетел маленький чернявый господинчик, в пальто и шапке.

– Где мадам Котомко? Где? Боже ж мой! – в каком-то отчаянии завопил он.

– Я... я... – лепетал поэт.

– Вы? Виноват... Я думал, что вы дама... ваше имя может сбить с толку... Ну, пусть. Я рад!

Он схватил поэта за руку и все с тем же отчаянием кричал:

– Ох, поймите, мы все за вас хватаемся! Как хватается человек за последнюю соломинку, когда у него нет больше соломы.

Он развел руками и огляделся кругом.

– Ну, понимаете, совершенно нет! Послали три кареты за артистами – ни одна не вернулась. Я говорю, нужно было с них задаток взять, тогда бы вернулись, а Маркин еще спорит. Вы понимаете? Публика – сплошная невежда: воображает, что если концерт, так уж сейчас ей запоют и заиграют, и не понимает, что если пришел в концерт, так нужно подождать. Ради бога, едемте скорее! Там какой-то паршивый скрипач – и зачем такого приглашать, я говорю, – пять минут помахал смычком и домой уехал. Мы просим «бис», а он заявляет, что забыл побриться. Слышали вы подобное? Ну, где же ваши ноты, пора ехать.

– У меня нет нот! – растерялся Котомко. – Я не играю.

– Ну, там найдется, кому сыграть, давайте только ноты!

Тут выскочила хозяйка и помогла делу. Ноты у нее нашлись: «Маленький Рубинштейн» – для игры в четыре руки.

Вышли на подъезд. Чернявый впереди, спотыкаясь и суетясь, за ним Котомко, как баран, покорный и завитой.

– Извините! Кареты у меня нет! Кареты так и не вернулись! Но если хотите, вы можете ехать на отдельном извозчике. Мы, конечно, возместим расходы.

Но Котомко боялся остаться один и сел с чернявым. Тот занимал его разговором.

– Боже, сколько хлопот! Еще за Буниным ехать. Вы не знаете, он в частных домах не поет?

– Н-не знаю... не замечал.

– Я недавно из провинции и, простите, в опере еще ни разу не был. Леонида Андреева на балалайке слышал. Очень недурно. Русская ширь степей... Степенная ширь. Потом обещал приехать Владимир Тихонов... Этот, кажется, на рояле. Еще хотели мы Немировича-Данченка. Я к нему ездил, да он отказался петь. А вы часто в концертах поете?

– Я? – удивился Котомко... – Я никогда не пел.

– Ну, на этот-то раз уж не отвертитесь! Сегодня вам придется петь. Иначе вы нас так обидите, что боже упаси!

Котомко чуть не плакал.

– Да я ведь стихи... В программе поставлено «Скажи, зачем...» и «Когда, весь погружаясь...». Я декламирую!

– Декла... а вы лучше спойте. Те же самые слова, только спойте. Публика это гораздо больше ценит. Ей-богу. Зачем говорить, когда можно мелодично спеть?

Наконец приехали. Чернявый кубарем вывалился из саней. Котомко качался на ногах и стукнулся лбом о столбик подъезда.

«Шишка будет... Пусть!» – подумал он уныло и даже не потер ушибленного места.

В артистической стоял дым коромыслом. Человек десять испуганных молодых людей и столько же обезумевших дам кричали друг на друга и носились как угорелые. Увидя Котомку, все кинулись к нему.

– Ах... Ну, вот уж один приехал. Раздевайтесь скорее! Публика с ума сходит. Был только один скрипач, а потом пришлось антракт сделать.

– Читайте подольше! Ради бога, читайте подольше, а то вы нас погубите!..

– Сколько вы стихов прочтете?

– Два.

– На три четверти часа хватит?

– Н-нет... Минут на шесть...

– Он нас погубит! Тогда читайте еще что-нибудь, другие стихи.

– Нельзя другие, – перекричал всех главный распорядитель. – Разрешено только два. Мы не желаем платить штраф!

Выскочил чернявый.

– Ну, так пусть читает только два, но очень медленно. Мадмазель Котомка... Простите, я все так... Читайте очень медленно, тяните слова, чтобы на полчаса хватило. Поймите, что мы как за соломинку!

За дверью раздался глухой рев и топот.

– Ой, пора! Тащите же его на эстраду!

И вот Котомко перед публикой.

– Господи, помоги! Обещаю, что никогда...

– Начинайте же! – засвистел за его спиной голос чернявого.

Котомко открыл рот и жалобно заблеял.

– Когда, весь погружаясь...

– Медленней! Медленней! Не губите! – свистел шепот.

– Громче! – кричали в публике.

– Ю-ный ко-о-орп-пу-ус...

– Громче! Громче! Браво!

Публика, видимо, веселилась. Задние ряды вскочили с мест, чтобы лучше видеть. Кто-то хохотал, истерически взвизгивая. Все как-то колыхались, шептались, отворачивались от сцены. Какая-то барышня в первом ряду запищала и выбежала вон.

– Скло-о-оно-у я ку те-е... – блеял Котомко.

Он сам был в ужасе. Глаза у него закатились, как у покойника, голова свесилась набок, и одна нога, неловко поставленная, дрожала отчетливой крупной дрожью. Он проныл оба стихотворения сразу и удалился под дикий рев и аплодисменты публики.

– Что вы наделали? – накинулся на него чернявый. – И четверти часа не прошло! Нужно было медленнее, а вы упрямы, как коровий бык! Идите теперь на «бис».

И Котомку вытолкнули второй раз на сцену.

Теперь уж он знал, что делать. Встал сразу в ту же позу и начал.

– К-о-огда-а-а, ве-е-есь... – Он почти не слышал своего голоса – такой вой стоял в зале. Люди качались от смеха, как больные, и стонали. Многие, убежав с мест, толпились в дверях и старались не смотреть на Котомку, чтобы хоть немножко успокоиться. Чернявый встретил поэта с несколько сконфуженным лицом.

– Ну, теперь ничего себе. Главное, что публике понравилось.

Но в артистической все десять девиц и юношей предавались шумному отчаянию. Никто больше не приехал. Главные распорядители пошептались о чем-то и направились к Котомке, который стоял у стены, утирал мокрый лоб и дышал, как опоенная лошадь.

– Поверьте, господин поэт, нам очень стыдно, но мы принуждены просить вас прочесть еще что-нибудь. Иначе мы погибли! Только, пожалуйста, то же самое, а то нам придется платить из-за вас штраф.

Совершенно ничего не понимая, вылез Котомко третий раз на эстраду.

Кто-то в публике громко обрадовался.

– Га! Да он опять здесь! Ну, это я вам скажу...

«Странный народ! – подумал Котомко. – Совсем дикий. Если им что нравится – они хохочут. Покажи им „Сикстинскую мадонну“, так они, наверное, лопнут от смеха!»

Он кашлянул и начал:

– Ко-гд-а-а... – Вдруг из последних рядов поднялся высокий детина в телеграфской куртке и, воздев руки кверху, завопил зычным голосом:

– Если вы опять про свой корпус, то лучше честью предупредите, потому что это может кончиться для вас же плохо!

Но Котомко сам так выл, что даже не заметил телеграфного пафоса.

Котомке дали полтинник на извозчика. Он ехал и горько усмехался своим мыслям.

«Вот я теперь известность, любимец публики. А разве я счастлив? Разве окрылен? „Что слава? – яркая заплатка на бедном рубище певца“. Я думал, что слава чувствуется как-то иначе. Или у меня просто нет никакого честолюбия?»

Катенька

Дачка была крошечная – две комнатки и кухня.

Мать ворчала в комнатах, кухарка в кухне, и так как объектом ворчания для обеих служила Катенька, то оставаться дома этой Катеньке не было никакой возможности, и сидела она целый день в саду на скамейке-качалке.

Мать Катеньки, бедная, но неблагородная вдова, всю зиму шила дамские наряды и даже на входных дверях прибила дощечку «Мадам Параскове, моды и платья». Летом же отдыхала и воспитывала гимназистку-дочь посредством упреков в неблагодарности.

Кухарка Дарья зазналась уже давно, лет десять тому назад, и во всей природе до сих пор не нашлось существа, которое сумело бы поставить ее на место.

Катенька сидит на своей качалке и мечтает «о нем». Через год ей будет шестнадцать лет, тогда можно будет венчаться и без разрешения митрополита. Но с кем венчаться-то, вот вопрос?

Из дома доносится тихое бубнение матери:

– ...И ничего, ни малейшей благодарности! Розовый брокер на платье купила, сорок пять...

– Девка на выданье, – гудит из кухни, – избаловавши с детства. Нет, коли ты мать, так взяла бы хворостину хорошую...

– Самих бы вас хворостиной! – кричит Катенька и мечтает дальше.

«Венчаться можно со всяким, это ерунда, – лишь бы была блестящая партия. Вот, например, есть инженеры, которые воруют. Это очень блестящая партия. Потом, еще можно выйти за генерала. Да мало ли за кого! Но интересно совсем не это. Интересно, с кем будешь мужу изменять. „Генеральша-графиня Катерина Ивановна дома?“ – и входит „он“, в белом кителе, вроде Середенкина, только, конечно, гораздо красивее и носом не фыркает. „Извините, я дома, но принять вас не могу, потому что я другому отдана и буду век ему верна“. Он побледнел, как мрамор, только глаза его дивно сверкают... Едва дыша, он берет ее за руку и говорит...»

– Катя-а! А Катя-а! Это ты с тарелки черносливину взяла-а?

Мать высунула голову в окошко, и видно ее сердитое лицо. Из другого окошка, подальше, высовывается голова в повойнике и отвечает:

– Конечно, она. Я сразу увидела: было для компоту десять черносливин, а как она подошла, так и девять сделалось. И как тебе не стыдно – а?

– Сами слопали, а на меня валите! – огрызнулась Катенька. – Очень мне нужен ваш чернослив! От него керосином пахнет.

– Кероси-и-ном? А почему же ты знаешь, что керосином, коли ты не пробовала, – а?

– Керосином? – ужасается кухарка. – Эдакие слова произносит! Взять бы что ни на есть, да отстегать бы, так небось...

– Стегайте себя саму! Отвяжитесь!

«Да... значит, он берет за руку и говорит: „Отдайся мне!“ Я уже готова уступить его доводам, как вдруг дверь распаивается и входит муж. „Сударыня, я все слышал. Я дарю вам мой титул, чин и все состояние, и мы разведемся“...»

– Катька! Дура полосатая! Кошка носатая! – раздался голос позади скамейки.

Катенька обернулась.

Через забор перевесился соседский Мишка и, дрыгая для равновесия высоко поднятой ногой, обрывал с росших у скамейки кустов зеленую смородину.

– Пошел вон, поганый мальчишка! – взвизгнула Катенька.

– Поган, да не цыган! А ты вроде Володи.

– Мама! Мама, он смородину рвет!

– Ах ты, господи помилуй! – высунулись две головы. – Час от часу не легче! Ах ты, дерзостный! Ах ты, мерзостный!

– Взять бы хворостину хорошую...

– Мало вас, видно, в школе порют, что вы и на каникулах под розгу проситесь. Вон пошел, чтоб духу твоего!..

Мальчишка спрятался, предварительно показав для самоудовлетворения всем по очереди свой длинный язык с налипшим к нему листом смородины.

Катенька уселась поудобнее и попробовала мечтать дальше. Но ничего не выходило. Поганый мальчишка совсем выбил ее из настроения. Почему вдруг «кошка носатая»? Во-первых, у кошек нет носов – они дышат дырками, а во-вторых, у нее, у Катеньки, совершенно греческий нос, как у древних римлян. И потом, что это значит, – «вроде Володи»? Володи разные бывают. Ужасно глупо. Не стоит обращать внимания.

Но не обращать внимания было трудно. От обиды сами собой опускались углы рта и тоненькая косичка дрожала под затылком.

Катенька пошла к матери и сказала:

– Я не понимаю вас! Как можно позволять уличным мальчишкам издеваться над собой. Неужели же только военные должны понимать, что значит честь мундира?

Потом пошла в свой уголок, достала конвертик, украшенный золотой незабудкой с розовым сиянием вокруг каждого лепестка, и стала изливать душу в письмо к Мане Кокиной:

«Дорогая моя! Я в ужасном состоянии. Все мои нервные окончания расстроились совершенно. Дело в том, что мой роман быстро идет к роковой развязке.

Наш сосед по имению, молодой граф Михаил, не дает мне покоя. Достаточно мне выйти в сад, чтобы услышать за спиной его страстный шепот. К стыду моему, я его полюбила беззаветно.

Сегодня утром у нас в имении случилось необычное событие: пропала масса фруктов, черносливов и прочих драгоценностей. Вся прислуга в один голос обвинила шайку соседских разбойников. Я молчала, потому что знала, что их предводитель граф Михаил.

В тот же вечер он с опасностью для жизни перелез через забор и шепнул страстным шепотом: „Ты должна быть моей“. Разбуженная этим шепотом, я выбежала в сад в капоте из серебряной парчи, закрытая, как плащом, моими распущенными волосами (у меня коса очень отросла за это время, ей-богу), и граф заключил меня в свои объятия. Я ничего не сказала, но вся побледнела, как мрамор; только глаза мои дивно сверкали...»

Катенька вдруг приостановилась и крикнула в соседнюю комнатушку:

– Мама! Дайте мне, пожалуйста, семикопеечную марку. Я пишу Мане Кокиной.

– Что-о? Ма-арку? Все только Кокиным да Мокиным письма писать! Нет, милая моя, мать у тебя тоже не лошадь, чтоб на Мокиных работать. Посидят Мокины и без писем!

– Только и слышно, что марку давай, – загудело из кухни. – Взят бы хворостину хорошую, да как ни на есть...

Катенька подождала минутку, прислушалась, и, когда стало ясно, что марки не получить, она вздохнула и приписала:

«Дорогая Манечка! Я очень криво приклеила марку и боюсь, что она отклеится, как на прошлом письме. Целую тебя 100 000 000 раз. Твоя Катя Моткова».

Политика и наука

Настроение в классной комнате какое-то натянутое. Второй день не дерутся.

Павлику не по себе. Он сидит над книгой и тихо похныкивает, глядя на лампу, подвешенную высоко «от греха подальше».

Борька, толстый, безбровый, хмурит лоб и зубрит по бумажке.

– Р. С. —Д. Р. П., Д. К. и Р. Д... Нет, не Д. К., а К. —Д., К. —Д., К. —Д.

– Хм! – хнычет Павлик. – И чего ты бесишься. Все равно все знают, что у нас в приготовительном самые трудные предметы. У нас все предметы начинаются, а у вас все только повторяют. Это всем известно.

– К. —Д., К. —Д., К. —Д., – кудахтает Борька.

– Хм! Хм! Меня завтра из батюшки спросят, а я ничего не могу выучить. Вчера спросили, я все великолепно знал, а он кол влепил.

– Р. С. —Д. Р. П., Р. С. —Д. Р. П. А что же тебя спрашивали? – с легким налетом презрения кидает Борька.

– Спросили про двенадцатые праздники. Я ему почти все назвал: Пасху назвал, Вознесенье назвал, Елку назвал, Введение назвал, Масленицу назвал...

– Дурак! Масленица не двенадцатая. Р. С. —Д. Р. П.

– Я ему все назвал, и Илью назвал, а он...

– Перестань скулить! Р. П. С. – Р... У меня революция на носу. Большевик, меньшевик, фракция, фракция, фракция... Большевик, меньшевик...

Павлик уныло посмотрел на маленький круглый Борькин нос, на котором была революция, и захныкал дальше.

– Хм! Заповеди все знаю, а он нарочно сбивает, чтобы...

– Врешь, – неожиданно обрывает Борька. – Не можешь ты всех заповедей знать.

– Нет, знаю.

– Ну, скажи, какую знаешь.

– Все знаю. И третью знаю.

– Ну, скажи, про что в третьей говорится?

– Про родителей.

– А что про родителей?

– «Да не прелюбо да сотворите» говорится. Я все знаю. А ты ничего не знаешь, ты ерунду зубришь. Латинскую азбуку.

– Эх ты, курица! Это не латинская азбука. Это мне Паша Коромысленников записал. Это, братец ты мой, фракция, а не ерунда. Паша Коромысленников не такой человек, чтоб ерундой заниматься. Он, братец ты мой...

– А что такое фракция?

– Это, братец ты мой, тебе еще рановато знать. Вот перейдешь в следующий класс, тогда... Паша Коромысленников светлая личность!

Борька глубокомысленно хмурит то место, где должны быть брови, и, понизив голос, продолжает:

– У Паши Коромысленникова чудный револьвер! Браунинг. Великолепный! Маузеровской работы. Он несколько тысяч стоит, и то без пуль. Пули покупаются отдельно. Тоже несколько тысяч. Но мы будем сами пули лить. Своего отлива прочнее. Будем копить свинец из-под Гала-Петер. Этого, конечно, мало... Ну, да там видно будет. Мне тоже придется обзавестись оружием.

– А тебе зачем? – криво усмехается Павлик. Он уже давно почувствовал уважение к брату, но еще совестно показать это.

– Я, видишь ли, братец ты мой, сделал маленькую оплошность. Может быть, ты и не заметил, но кое-кто, наверное, намотал себе на ус. Дело в том, что я вчера за обедом брякнул во всеуслышание, что я социал-демократ. Теперь Паша Коромысленников советует мне спать с оружием. Пример Герценштейна служит ярким доказательством того, что черная сотня не пощадит никого из нас...

Павлик уже не усмехается. Глаза у него стали круглые.

– Да-с, братец ты мой, – продолжает Борька. – Дело – табак! Конечно, я мог бы, например, завтра же за обедом заявить, что я не социал-демократ, а что я принадлежу к фракции союза активных крамол, то есть борьбы (ты ведь все равно не понимаешь). Этим я бы себя спас. Но Борис Сухарев не таков, братец ты мой! Ты еще узнаешь, что такое Борис Сухарев. А теперь – засохни! Не мешай. Р. С. —Д. Р. П., Р. С. —Д. Р. П., Р. С. —Д. Р. П.

Некоторое время Павлик молча и сосредоточенно рисует чернилами рожи у себя на ногтях.

Разрисовал всю левую руку – на каждом ногте по роже. Мрачно полюбовался. Принялся за правую руку. Здесь дело не налаживалось. Павлик не умел рисовать левой рукой. Опять стало скучно. Пришлось захныкать.

– Хм... хм... Все равно хоть все на память вызубри, а он кол влепит. Я ему все Вознесенье хорошо ответил; все правильно рассказал, только заглавие спутал, сказал, что это Сретенье, а он... А Петя говорит, что если я из батюшки срежусь, так меня на второй год засадят.

– Засохни! П. П. С., П. Н. С... У меня теперь трудное пошло. П. П. С., П. Н. С...

– Из русского разбор задал, а я не могу...

– Что ты не можешь, курица?

– Не могу пустынного.

– Какого пустынного?

– Задано «Пустынный гулял в пустыне». Пустыня – имя существительное, нарицательное... А пустынный... а пустынный – глагол?

– Глагол? – задумывается Борька. – Ну, это ты, братец, того... Как же тогда второе лицо?

– Ты пустынный... – безнадежно тянет Павлик.

– Нет, это ты, братец мой, путаешь. Это так кажется, что глагол, потому что пустынный предмет воодушевленный. А ты возьми предмет невоодушевленный. Например, стол. Что такое – стол?

– Глагол-ол...

– Вот курица! Как же будущее время, если глагол?

– Столу-у, хм...

В соседней комнате часы бьют восемь. Борька в отчаянии хватается за голову.

– Сейчас чай пить позовут, а я ни в зуб ногой. Будь товарищем, спроси меня вот по этой бумажке, только не подсказывай, я сам...

Павлик берет бумажку и, мрачно насупившись, начинает:

– Что такое К. —Д.?

– Да ты не по порядку! Ты вразбивку спрашивай. По порядку и дурак скажет.

– Что такое максималисты?

– Ну, это легко. Это те, которые в Фонарном переулке. Валяй дальше!

– Что такое П. Д. Р.?

– П. Д. Р... П. Д. Р... Постой, ты, верно, не так спрашиваешь. Да, П. Д. Р. Партия демократических реформ, правей К. —Д., левой С. —Д.

– Что такое Р. С. —Д. Р. П.?

– Гм... Как?

– Р. С. —Д. Р. П.

– Ты, верно, опять спутал.

– Р. С. —Д. Р. П., – настойчиво тянет Павлик.

– Пошел к черту! Мекеке! Мекеке! Туда же, берется спрашивать. Сказано, курица – ну и молчи! Давай сюда записку!

В столовой зазвенели ложки. Сейчас позовут чай пить. Скучно Павлику и тревожно. Что-то завтра будет из батюшки... И разве пустынный наверное глагол?..

Борька отдувается и фыркает: «Фракция, фракция, фракция...»

Молодчина Борька. Хорошо быть большим и умным!

Утешитель

Мишеньку арестовали.

Маменька и тетенька сидят за чаем и обсуждают обстоятельства дела.

– Пустяки, – говорит тетенька. – Мне сам господин околоточный надзиратель сказал, что все это ерунда. Добро бы, говорит, студент, а то гимназист-третьеклассник. Пожучат, да и выпустят.

– Пожучить надо, – покорно соглашается маменька.

– А потом тоже, и пистолет-то ведь старый, его и зарядить нельзя. Это всякий может понять, что, не зарядивши, не выпалишь.

– Ох, Мишенька, Мишенька! Чуяло твое сердце. Он, Верушка, как эту пистоль-то завел, так сам три ночи заснуть не мог. Каждую минутку встанет да посмотрит, как эта пистоль-то лежит. Не повернулась ли, значит, к нему дыркой. Я ему говорю: «Брось ты ее, отдай, у кого взял». И бросить нельзя – товарищи велели.

– Так ведь оно незаряжено?

– Незаряжено-то оно незаряжено, да Мишенька говорит, что в газетах читал, быдто как нагреется пистоль от солнца, так и выстрелит; и заряживать, значит, не надо. В Америке быдто нагрелась, да ночью целую семью и ухлопала.

– Да солнца-то ведь ночью не бывает, – сомневается тетенька.

– Мало что не бывает. За день разогреется, а ночью и палит.

– Не спорю, а только много и врут газеты-то. Вот наместни Степанида Петровна тоже в газете вычитала, быдто на Петербургской стороне продается лисья шуба за шестнадцать рублей. Ну, статочное ли дело? Чтобы лисья шуба...

– Врут, конечно, врут. Им что!.. Им все равно. Что угодно напишут.

Дверь неожиданно с треском распаивается. Входит гимназист – Мишин товарищ. Щеки у него пухлые, губы надуты, и выражение лица злое.

– Здравствуй! Я зашел... Вообще считаю своим долгом успокоить. Волноваться вам, в сущности, нечего. Тем более что вы, наверно, были подготовлены...

У маменьки лицо вытягивается. Тетенька продолжает безмятежно сплевывать вишневые косточки.

– Можете, значит, отнестись к факту спокойно. Климат в Сибири очень хорош, особенно полезен для слабых. Это вам каждая медицина скажет.

Тетенька роняет ложку. У маменьки глаза делаются совсем круглыми, с белыми ободочками.

– Вот видите, как вы волнуетесь, – с упреком говорит гимназист. – Можно ли так... из-за пустяков. Скажите лучше, были ли найдены при обыске компром... прометирующие личность вещи?

– Ох, господи, – застонала маменька, – пистоль эту окаянную да еще газетку какую-то!

– Газету? Вы говорите: газету? Гм... Осложняется... Но волноваться вам совершенно незачем.

– Может быть, газета-то и не к тому... – робко вмешивается тетенька. – Потому он на газету-то только глазом метнул, да и завернул в нее пистолет. Может быть...

Гимназист криво усмехнулся, и тетенька осеклась.

– Гм... Ну, словом, вы не должны тревожиться. Газета. Гм... Тем более что тюремный режим очень хорошо действует на здоровье. Это даже в медицине написано. Замкнутый образ жизни, отсутствие раздражающих впечатлений – все это хорошо сохраняет... сохраняет нервные волокна... Каледонские каторжники отличаются долговечностью. Михаил может дотянуть до глубокой старости. Вам, как матерям, это должно быть приятно.

– Голубчик, – вся затряслась маменька, – голубчик! Не томи! Говори, говори все, что знаешь. Уж лучше сразу!..

– Сразу! Сразу, – всхлипнула тетенька. – Не надо нас готавливать... Мы тверды...

– Говори, святая владычица. – Гимназист пожал плечами.

– Я вас положительно не понимаю. Ведь ничего же нет серьезного. Нужно же быть рассудительными. Ну, газета, ну, револьвер. Что за беда! Револьвер, гм... Вооруженное сопротивление властям при нарушении судебной обязанности... В прошлом году, говорят, расстреляли одного учителя за то, что тот очки носил. Ей-богу! Ему говорят: «Снимите очки». А он говорит: я, мол, ничего не могу невооруженным глазом. Вот его за вооружение глаз и расстреляли. Что же касается Михаила, то, само собой разумеется, что револьвер будет посерьезнее очков. Да и то, собственно говоря, пустяки, если принять во внимание процент рождаемости...

Маменька, дико вскрикнув, откидывается на спинку дивана. Тетенька хватается за голову и начинает громко выть.

В дверь просовывается голова кухарки.

– Ну, разве можно так волноваться! Ай, как стыдно! – ласково журит гимназист.

Кухарка голосит: и на ко-го ты нас...

– Ну-с, я вечером опять зайду, – говорит гимназист и, взяв фуражку, уходит с видом человека, удачно исполнившего тяжелый долг.

Когда рак свистнул *Рождественский ужас*

Елка догорела, гости разъехались.

Маленький Петя Жаботыкин старательно выдирал мочальный хвост у новой лошадки и прислушивался к разговору родителей, убиравших бусы и звезды, чтобы припрятать их до будущего года. А разговор был интересный.

– Последний раз делаю елку, – говорил папа-Жаботыкин. – Один расход, и удовольствия никакого.

– Я думала, твой отец пришлет нам что-нибудь к празднику, – встала мама-Жаботыкина.

– Да, черта с два! Пришлет, когда рак свистнет.

– А я думал, что он мне живую лошадку подарит, – поднял голову Петя.

– Да, черта с два! Когда рак свистнет.

Папа сидел, широко расставив ноги и опустив голову. Усы у него повисли, словно мокрые, бараньи глаза уныло уставились в одну точку.

Петя взглянул на отца и решил, что сейчас можно безопасно с ним побеседовать.

– Папа, отчего рак?

– Гм?

– Когда рак свистнет – тогда, значит, все будет?

– Гм?

– А когда он свистнет?

Отец уже собрался было ответить откровенно на вопрос сына, но, вспомнив, что долг отца быть строгим, дал Пете легонький подзатыльник и сказал:

– Пошел спать, поросенок!

Петя спать пошел, но думать про рака не перестал. Напротив, мысль эта так засела у него в голове, что вся остальная жизнь утратила всякий интерес. Лошадки стояли с невыдранными хвостами, из заводного солдата пружина осталась невыломанной, в паяце пищалка сидела на своем месте – под ложечкой, – словом, всюду мерзость запустения. Потому что хозяину было не до этой ерунды. Он ходил и раздумывал, как бы так сделать, чтобы рак поскорее свистнул.

Пошел на кухню, посоветовался с кухаркой Секлетиной. Она сказала:

– Не свистит, потому что у него губов нетути. Как губу наростит, так и свистнет.

Больше ни она, ни кто-либо другой ничего объяснить не могли.

Стал Петя расти, стал больше задумываться.

– Почему-нибудь да говорят же, что коли свистнет, так все и исполнится, чего хочешь.

Если бы рачий свист был только символ невозможности, то почему же не говорят: «Как слон полетит» или «Когда корова зачирикает». Нет! Здесь чувствуется глубокая народная мудрость. Этого дела так оставить нельзя. Рак свистнуть не может, потому что у него и легких-то нету. Пусть так! Но неужели же не может наука воздействовать на рачий организм и путем подбора и различных влияний заставить его обзавестись легкими.

Всю свою жизнь посвятил он этому вопросу. Занимался оккультизмом, чтобы уяснить себе мистическую связь между рачьим свистом и человеческим счастьем. Изучал строение рака, его жизнь, нравы, происхождение и возможности.

Женился, но счастлив не был. Он ненавидел жену за то, что она дышала легкими, которых у рака не было. Развелся с женой и всю остальную жизнь служил идее. Умирая, сказал сыну:

– Сын мой! Слушайся моего завета. Работай для счастья ближних твоих. Изучай рачье телосложение, следи за раком, заставь его, мерзавца, изменить свою натуру. Оккультные науки

открыли мне, что с каждым рачьим свистом будет исполняться одно из самых горячих и искренних человеческих желаний. Можешь ли ты теперь думать о чем-либо, кроме этого свиста, если ты не подлец? Близорукие людишки строят больницы и думают, что благодетельствовали ближних. Конечно, это легче, чем изменить натуру рака. Но мы, мы – Жаботькины, из поколения в поколение будем работать и добьемся своего!

Когда он умер, сын взял на себя продолжение отцовского дела. Над этим же работал и правнук его, а праправнук, находя, что в России трудно заниматься серьезной научной работой, переехал в Америку. Американцы не любят длинных имен и скоро перекрестили Жаботькина в мистера Джеба, и, таким образом, эта славная линия совсем затерялась и скрылась от внимания русских родственников.

Прошло много, очень много лет. Много на свете изменилось, но степень счастья человеческого осталась ровно в том же положении, в каком была в тот день, когда Петя Жаботькин, выдирая у лошадки мочальный хвост, спрашивал:

– Папа, отчего рак?

По-прежнему люди желали больше, чем получали, и по-прежнему сгорали в своих несбыточных желаниях и мучились.

Но вот стало появляться в газетах странное воззвание:

«Люди! Готовьтесь! Труды многих поколений движутся к концу. Акционерное общество „Мистер Джеб энд компани“ объявляет, что 25 декабря сего года в первый раз свистнет рак и исполнится самое горячее желание каждого из ста человек (1%). Готовьтесь!»

Сначала люди не придавали большого значения этому объявлению. «Вот, думали, верно, какое-нибудь мошенничество. Какая-то американская фирма чудеса обещает, а все сведется к тому, чтобы прорекламировать новую ваксу. Знаем мы их!»

Но чем ближе подступал обещанный срок, тем чаще стали призадумываться над американской затеей, покачивали головой и высказывались надвое.

А когда новость подхватили газеты и поместили портрет великого изобретателя и снимок с его лаборатории во всех разрезах – никто уже не боялся признаться, что верит в грядущее чудо.

Вскоре появилось и изображение рака, который обещал свистнуть. Он был скорее похож на станového пристава из Юго-Западного края, чем на животное хладнокровное. Выпученные глаза, лихие усы, выражение лица бравое. Одет он был в какую-то вязаную куртку со шнурками, а хвост не то был спрятан в какую-то вату, не то его и вовсе не было.

Изображение это пользовалось большой популярностью. Его отпечатывали и на почтовых открытках, раскрашенное в самые фантастические цвета – зеленый с голубыми глазами, лиловый в золотых блестках и т. д. Новая рябиновая водка носила ярлык с его портретом. Новый русский дирижабль имел его форму и пятился назад. Ни одна уважающая себя дама не позволяла себе надеть шляпу без рачьих клешней на гарнировке.

Осенью компания «Мистер Джеб энд компани» выпустила первые акции, которые так быстро пошли в гору, что самые солидные биржевые «зайцы» стали говорить о них почтительным шепотом.

Время шло, бежало, летело. В начале октября сорок две граммофонные фирмы выслали в Америку своих представителей, чтобы записать и обнародовать по всему миру первый рачий свист.

25 декабря утром никто не заспался. Многие даже не ложились, высчитывая и споря, через сколько секунд может на нашем меридиане воздействовать свист, раздавшийся в Америке. Одни говорили, что для этого пойдет времени не больше, чем для электрической передачи. Другие кричали, что астральный ток быстрее электрического, а так как здесь дело идет, конечно, об астральном токе, а не о каком-нибудь другом, то – и так далее.

С восьми часов утра улицы кишели народом. Конные городовые благодушно наседали на публику лошадиными задами, а публика радостно гудела и ждала.

Объявлено было, что тотчас по получении первой телеграммы дан будет пушечный выстрел.

Ждали, волновались. Восторженная молодежь громко ликовала, строя лучезарные планы. Скептики кричали и советовали лучше идти домой и позавтракать, потому что, само собой разумеется, ровно ничего не будет и дураков валять довольно глупо.

Ровно в два часа раздался ясный и гулкий пушечный выстрел, и в ответ ему ахнули тысячи радостных вздохов.

Но тут произошло что-то странное, непредвиденное, необычное, что-то такое, в чем никто не смог и не захотел увидеть звена сковывавшей всех цепи: какой-то высокий толстый полковник вдруг стал как-то странно надуваться, точно нарочно; он весь разбух, слился в продолговатый шар; вот затрещало пальто, треснул шов на спине, и, словно радуясь, что преодолел неприятное препятствие, полковник звонко лопнул и разлетелся брызгами во все стороны.

Толпа шарахнулась. Многие, взвизгнув, бросились бежать.

– Что такое? Что же это?

Бледный солдатик, криво улыбаясь трясущимися губами, почесал за ухом и махнул рукой:

– Вяжи, ребята! Мой грех! Я ему пожелал: «Чтоб те лопнуть!»

Но никто не слушал и не трогал его, потому что все в ужасе смотрели на дико визжавшую длинную старуху в лисьей ротонде; она вдруг закружилась и на глазах у всех словно юркнула в землю.

– Провалилась, подлая! – напутственно прошамкали чьи-то губы.

Безумная паника охватила толпу. Бежали, сами не зная куда, опрокидывая и топча друг друга. Слышался предсмертный храп двух баб, подавившихся собственными языками, а над ними громкий вой старика:

– Бейте меня, православные! Моя волюшка в этих бабахдохнет.

Жуткая ночь сменила кошмарный вечер. Никто не спал. Вспоминали собственные черные желания и ждали исполнения над собой чужих желаний.

Люди гибли, как мухи. В целом свете только одна какая-то девочка в Северной Гвинее выиграла от рачьего свиста: у нее прошел насморк по желанию тетки, которой она надоела непрерывным чиханьем. Все остальные добрые желания (если только они были) оказались слишком вялыми и холодными, чтобы рак мог насвистать их исполнение.

Человечество быстрыми шагами шло к гибели и погибло бы окончательно, если бы не жадность «Мистера Джеба энд компани», которые, желая еще больше вздуть свои акции, переутомили рака, понуждая его к непосильному свисту электрическим раздражением и специальными пилюлями.

Рак сдох.

На могильном памятнике его (работы знаменитого скульптора по премированной модели) напечатана надпись:

«Здесь покоится свистнувший экземпляр рака – собственность „Мистера Джеба энд компани“, утоливший души человеческие и насытивший пламеннейшие их желания.

– Не просыпайся!»

Морские сигналы

Мы катались по Неве.

Нева – это огромная река, которая впадает сразу в две стороны – в Ладожское озеро и в Балтийское море. Поэтому плавать по ней очень трудно. Но с нами был Нырялов, бывший моряк, который справлялся и не с такими задачами. Он греб все время один и болтал веслами в разные стороны. Таким образом, лодка стояла на одном месте, и было скучно, но у моряков, кажется, это очень ценится. Называется это у них «зашкваривать» или что-то в этом роде.

Пели по обычаю «Вниз по матушке по Волге». На воде всегда поют «Вниз по матушке по Волге». Но едва затянули «На носу сидит хозяин», как увидели большое судно, стоящее у берега.

– Это оно отшвартовалось, – сказал бывший моряк. Мне не хотелось показать, что я не поняла слова, и я только заметила:

– Само собой разумеется! Но как вы это узнаете?

– Что «это»?

– Да что это с ним произошло. Именно это, а не другое?

Но моряк уже не слушал меня, а всматривался в какие-то белые лоскутки, развевавшиеся на мачтах.

– Эге! – сказал он. – Любопытно! Ведь они сигнализируют. В море сигналы всегда делаются посредством небольших флагов.

– А что же значит этот сигнал? – спросили мы.

– Это? Гм... Два слева... один выше... Это значит: «Мы на мели».

– Ай-ай-ай! Несчастные!

– Что же делать? Мы, во всяком случае, помочь им не можем. Придется подождать. Скоро другие суда заметят и придут на помощь.

Мы остановились, причалили к берегу и стали наблюдать. Через несколько минут на корабле появились еще два флага. На этот раз оба были цветные.

– Это что же? – Моряк заволновался.

– Два пестрых... два белых... «Голодаем».

– Несчастные!

– Вот еще один флаг!

– Три пестрых, два белых... «Нет воды».

– Какой ужас!

– Еще флаги! Сразу четыре.

– Позвольте! Не кричите! Дайте разобраться. Вы думаете, это так просто? Теперь уже девять флагов. Может быть, я и ошибаюсь, но мне кажется, что это значит «сдаемся без боя».

– Значит, это иностранное судно?

– А кто его разберет! Очень близко подойти опасно. Они могут дать залп.

– Чего ради?

– Как чего ради! Люди в таком опасном положении. Нервы напряжены до крайности! Каждая минута дорога, и все кажется зловещим. Вы не понимаете психологии гибнущего в море. Да они вас в клочки разорвут!

Мы притихли.

А количество страшных флагов все увеличивалось.

Моряк уже не объяснял нам значение каждого сигнала. Он только безнадежно махал руками и лишь изредка бросал отдельные слова:

– «Свирепствует зараза!»

– «Пухнем с голода!»

– «Сдаемся без выстрела!» – Мы молча предавались ужасу.
– Какая величественная картина, – шепнул кто-то из нас. – Точно громадный зверь погибает.

– Ужасно! Ужасно!

– «Идем ко дну!» – завопил вдруг моряк.

– Все кончено – они идут ко дну! Мы должны немедленно отплыть подальше! Иначе нас затянет в воронку, и мы утонем вместе с ними. Гребите скорее!

Мы схватились за весла. Моряк уже не греб, а только дирижировал. Он даже забыл про то, что Нева сразу впадает в два конца, и не препятствовал нам болтать веслами в одну сторону.

Отплыли, завернули за берег.

– Посмотрите, виден ли он еще. Я сам не могу, мне слишком тяжело...

– Виден!

– Несчастные! Как они медленно погружаются! – Отъехали еще немножко.

– Виден?

– Виде-ен!

– О господи! Минуты-то какие!

Вдруг, смотрим, идут по берегу два матроса. Так что-то в сердце и екнуло...

– Братцы, вы откуда? Вы куда?

– А из городу. Идем на этот самый.

Тычут большими пальцами прямо в сторону гибнущего корабля.

– Да что вы! Да вы посмотрите, что там делается-то! Али вам с берега не видать?

– Как не видать! Видать!

– А что на мачтах-то висит? А? Несчастные вы!

– А ничего! Пушай себе висит! Это наша команда рубахи стирала, так вот повесила. Не извольте пужаться. Оно к вечеру подсохнет.

Репетитор

Когда у Коли Факелова отлетела подметка и на втором сапоге, он заложил теткин солонку и составил объявление:

«Гимназист 8-го класса готовит по всем предметам теоретически и практически, расстоянием не стесняется. Знаменская, 5. Н. Ф.».

Отнес в газету и попросил конторщика получше сократить, чтоб дешевле вышло.

Тот и напечатал:

«Гимн. 8 кл. г. по вс. пр. тр. пр. р. не ст. Знам. 5, Н. Ф., др.».

Последнее «др» въехало как-то само собой, и ни Коля, ни сам конторщик не могли понять, откуда оно взялось. Но пошло оно, очевидно, на пользу, потому что на второй же день после предложения поступил и спрос.

Пришла на буквы Н. Ф. открытка следующего содержания:

«Господин учитель-гимназист пожалуйста завтра для переговоров Бармалеева улица номеру дома 12.

Госпожа Ветчинкина».

Коля решил держать себя просто, но с достоинством, выпятил грудь, прищурил правый глаз и засунул руки в карманы. Поглядел в зеркало: поза, действительно, указывала на простоту и достоинство.

В таком виде он и предстал перед госпожой Ветчинкиной.

А та говорила:

– Пожалуйста, господин учитель-гимназист, уж возьмите вы на себя божеску милость Ваську-оболтуса обравнять. На третий год в классе остался. Ходила намеренно к дилектору, так тот велели, чтоб по латыни его прижучить, да еще, говорит, шкурьте его как следует по географии. Вы ведь по-латыни можете?

– Могу-с! – отвечал Коля Факелов с достоинством. – Могу-с и теоретически, и практически.

– Ну, вот и ладно. Только, пожалуйста, чтобы и география, тоже и теоретически, и практически, и все предметы. У вас вон в объявлении сказано, что вы все можете.

Она достала вырезку из газеты и корявым мизинцем, больше похожим на соленый огурец, чем на обыкновенный человеческий палец, указала на загадочные слова: «пр. тр. пр. др.».

– Так вот, пожалуйста, чтоб это все было. Жалованье у нас хорошее – пять рублей в месяц; на улице не найдете. А супруга нашего теперь нету – поехал гусями заниматься.

Коля выпятил грудь, прищурил глаз и с достоинством согласился.

На следующий день начались занятия. Кроме Васьки-оболтуса, за учебным столом оказалась еще какая-то девочка постарше, потом мальчик поменьше и еще что-то совсем маленькое, стриженое, не то мальчик, не то девочка.

– Это ничего, – успокаивала Колю госпожа Ветчинкина. – Они вам мешать не будут, они только послушают. Петьке-лентяю покажите буквы, с него пока и полно. А Манечка вам уж потом, после урока ответит, что им в школе задано.

– Ну-с, молодой человек, – спросил Коля Ваську-оболтуса, – по какому предмету вы чувствуете себя слабее?

– По-французскому кол, – сказал оболтус басом. – Глаголов не понимаю.

– Гм... да что вы?! Ведь это так просто.

– Не понимаю импарфе и плюскепарфе.⁸

⁸ Imparfait, plusqueparfait (имперфект, плюсквамперфект) – формы прошедшего времени во французском языке.

– Да что вы?! Да я вам это сейчас в двух словах. Гм... Например, «я пришел», это будет импарфе. Понимаете? «Я пришел». А если я совсем пришел, так это будет плюскепарфе. Понимаете? Ведь это же так просто! Ну, повторите.

– Импарфе, это когда вы не совсем пришли, – унылым басом загудел оболтус. – А если вы окончательно пришли, тогда это уж будет... Это уж будет...

– Ну да, раз я уже совсем пришел, значит – ну? Что же это значит?

– Если не совсем еще пришли, то импарфе, а если уже, значит, окончательно, со всеми вещами, то плюскепарфе.

– Ну, вот видите. Разве трудно?

– А как по-немецки картофель? – спросила вдруг девочка.

У Коли Факелова засосало под ложечкой. Вот оно, «др», когда началось!

– Картофель? Вас интересует, как по-немецки картофель? Как это странно! А впрочем, это очень просто...

Сидевшая у окна за работой госпожа Ветчинкина насторожилась.

Откладывать картофель в долгий ящик было нельзя.

– Очень просто. Дер фруктус.

– Дер фруктус? – повторила девочка недоверчиво. – А как же прежний репетитор по-другому говорил?

– Сонька, молчи! – прикрикнула мать. – Раз господин учитель говорит, значит, так и есть.

В пять часов госпожа Ветчинкина увела детей обедать, а Коле Факелову подвинула стриженое существо и сказала:

– А уж вы пока, господин гимназист-учитель, с Нюшкой посидите. Она у меня все равно особенное ест, так ее и потом покормить можно. Вот игрушками займитесь либо картинки покажите.

Нюшка сунула ему книгу с картинками и спросила:

– А это цто? – Раскрыла.

– А это цто?

На картинке изображены были плавающие утки, к которым из-за кустов подкрадывалась лисица.

– А это цто? – приставала Нюшка.

– А это уточка купается, а лисичка подсматривает, – чистосердечно пояснил Коля Факелов.

– А это цто?

– А это собака. Ведь сама видишь, чего же пристаешь?

– А это цто?

– А то, что ты – дура и убирайся к черту.

Нюшка заревела громко, с визгом. Прибежала мать, не расспрашивая, надавала ей шлепков и тут же извинилась перед Колей:

– Сама знаю, что их пороть надо, да некому у нас. Супруг-то ведь гусями занимается, недосуг ему.

На другой день, после уроков, госпожа Ветчинкина попросила Колю сходить с девочками на рынок купить им сапоги.

– Мне-то, видите, некогда, а сам-то гусями занимается, вот на вас вся и надежда.

Коля пошел, но очень сконфузился на улице и делал вид, что он идет сам по себе.

На следующий день заболела кухарка, а так как хозяин был занят гусями, то Коле пришлось сбегать за крупой и за булками.

Через неделю он нашел в классной комнате еще двух мальчиков, испуганно шаркнувших ему ногами.

– Э, с этими стесняться нечего! – успокоила его госпожа Ветчинкина. – Это мужней сестры дети. Свои, стало быть. Покажите им какие-нибудь буквы, – с них и полно будет.

Коля приуныл.

– Что ж, госпожа Ветчинкина, я с удовольствием, – говорил он дрожащим голосом, а когда она ушла, сказал ей вслед тихо, но с большим чувством: – Чтоб ты лопнула!

И опять объяснял, как он не совсем пришел с импарфе и как окончательно засел с плюскепарфе, и все думал: «Дотянуть бы только до конца месяца, а там получу пять рублей, и черт мне не брат».

Но черт оказался брат, потому что к концу месяца госпожа Ветчинкина сказала ему, что без мужа платить не может, а вот муж скоро приедет и все заплатит.

Коля смирился, стал совсем тихий и даже забыл, как надо щурить глаз, чтобы показать свое достоинство.

К концу второго месяца приехал хозяин. Вошел во время обеда, когда Коля Факелов, в качестве репетитора, кормил Нюшку особливym супом. Уставился хозяин на Колю и заорал:

– Эт-то кто, а?

Госпожа Ветчинкина заплакала:

– Ей-богу, Иван Трофимович! Верь совести! – Порылась в кармане, вытащила огрызок сахара, кошелек и Колино объявление.

– Вот они кто. Господин учитель, гимназист.

– Давай сюда! Молча-ать! – крикнул хозяин.

Схватил бумажку:

– Г. пр. тр. пр. р. ст. др... Вот как? Ладно. Потрудитесь, господин, отсюда удалиться. Здесь честный дом, а что вы эту дуру обошли, за это с вас судом взыщется.

– Что же это? – затрепетал Коля. – Ведь вы же мне должны...

– Должны-ы? Так мы еще и должны? В семью втерся, детей супом кормит, а мы же еще ему и плати. Какой тр. пр. нашелся. Вон, чтобы твоего духу тут не было, не то сейчас дворника крикну. Др. тр.! Развратники!

Коля опомнился только на улице, и то не на Бармалеевой, а на какой-то совсем незнакомой. Остановился и закричал:

– Вы невежа, вот вы кто! Прямо вам в глаза говорю, что вы невежа! Да-с!

Он прищурил глаз, выпятил грудь, подбоченился и зашагал с достоинством вперед.

– Да-с! Я еще с вами посчитаюсь! – подбодрял он себя.

Но душа его не могла подбочениться. Она тихо и горько плакала и понимала, что считаться ни с кем не придется, что его обидели и выгнали и что ушел он окончательно, совсем ушел – плюскепарфе!

Из весеннего дневника

...А природа, как уже давно дознано археологами, все делает назло человеку. Недаром говорится: «Гони природу в дверь, она вернется в окно».

Вот и теперь: дача не нанята – солнце во все лопатки. В прошлом году переехали рано, начались майские морозы и продолжались вплоть до сентября. Двести рублей за дачу заплатили, на шестьдесят дров извели. А еще уверяют, что человек – царь природы. Очень и очень ограниченный монарх, во всяком случае.

Я лично не люблю природы. По-моему, это – одна фантазия и расход. И всегда простудишься в конце концов. Но вчера утром Жан настроился совсем по-весеннему. Посмотрел на барометр, на термометр Цельсия, на Реомюра, на Фаренгейта, помножил Реомюра на Цельсия, разделил барометр на Фаренгейта и решил, что погода весь день будет великолепная, и нужно ехать подышать свежим воздухом. На мои протесты он ответил, что если человек работает всю неделю, как бешеная собака, то он имеет право в воскресенье насладиться природой.

Я поняла, что действительно было бы глупо иметь право и не пользоваться им. Непрактично.

И мы поехали.

Увязался с нами и beau-frere⁹ Васенька. Я не люблю с ним ездить. Он ужасно моветонный и легко может скомпрометировать.

Он и на этот раз стал что-то очень глупо острить насчет моего зонтика, но Жан сразу поставил его на место (конечно, Васеньку, а не зонтик), и мы поехали наслаждаться воздухом.

Ехали на конке.

Beau-frere Васенька уронил в щель две копейки и всю дорогу выковыривал их тросточкой. Это было очень неприятно. Соседи могли подумать, что для нашей семьи такую важную роль играют две копейки.

Вдобавок он всю зиму сохранял летнее пальто в нафталине, а для поездки обновил его, и я очень страдала при каждом Васенькином движении. Жан сидел с другой стороны, и от него пахло пачулями, нюхательным табаком и перцем. От этой смеси издохнет не только моль, но и любое млекопитающее. Мне было очень скверно. С одной дамой-визави сделался легкий обморок. Но Жан поставил ее на место, и она вылезла на полном ходу.

Около Черной речки у меня зазеленело в глазах, и мы вышли на площадку. Там было легче дышать, но очень тесно стоять. Beau-frere Васенька болтал ногой в воздухе, и Жан никак не мог поставить его на место. А нафталин пах, и ветер дул как раз на меня.

На площадке стояли какие-то личности, которые, по-видимому, не прочь были завязать разговор. Чтобы поставить их на место, Жан начал говорить о загранице. Они сразу поняли, кто перед ними, и замолчали.

– Посмотри, Нинет, как этот мост похож на... на площадь Согласия в Лондоне, – говорил он.

Я за границей не бывала, но соглашалась, что похож. Может быть, и правда похож – чего же без толку спорить.

– Когда я поднимался на Риги... Ригикульм...

Все слушали с завистью, а beau-frere Васенька вдруг загоготал, как дикий вепрь, и говорит: «Врешь, Ванька, никогда ты в Риге не бывал».

Вышло ужасно глупо. Все стали ухмыляться, а Васенька начал подпевать: «Вре-ешь, вре-ешь...»

⁹ Свояк (фр.).

Жан, чтобы поставить его на место, сказал, что в обществе не принято петь, когда стоишь на коночной площадке. Но тут вмешался кондуктор.

– Како тако обчество? Мы уже второй год, как в город перешедчи. Не обчество, стало, а городские.

– Я говорю о высшем обществе, – поставил его на место Жан. – О высшем, а не о конно-железнодорожном.

У Черной речки мы вылезли и решили взять извозчика до ресторана.

Но извозчик нашелся только один и до того пьяный, что его нельзя было даже поставить на место.

Пришлось идти пешком.

Ветер дул с Васенькиной стороны, и я все время думала, как дохнет моль.

Должно быть, ужасные страдания!..

На набережной сидела целая дивизия свежемобилизованных хулиганов и делилась впечатлениями на наш счет. Это было неприятно.

У входа в ресторан Жан долго умилялся картиной природы и говорил, что весной пробуждается жизнь.

– Какая красота! – твердил он. – Река точно серебро! Берега точно изумруд! Небо точно бирюза!.. Горизонт – точно золото!

Он говорил очень поэтично, хотя несколько ювелирно.

– А этот чудный аромат распускающихся почек!.. – Beau-frere Васенька потянул носом и с уважением произнес:

– Ну! И нюх же у тебя! Действительно, на веранде кто-то почки в мадере уплетает.

Мы прошли на веранду, и лакей спросил, что мы желаем на ужин. Но Жан сразу поставил его на место, заказав три стакана морсу.

Откушав, мы наняли лодку и поехали к взморью. Я сидела на руле и на какой-то корявой палке. Было очень неловко, но палку вытащить было нельзя. Жан говорил, что лодка при этом перевернется.

Beau-frere Васенька болтал веслами, языком и ногами и кричал, что задел веслом рыбу. Жан вспоминал, что был знаком с одним графом, членом яхт-клуба, и показывал, как этот граф рассказывал, как греб один князь. Лодка при этом ползла боком и тыкалась кормой в берега.

Рядом с нами плыли на ялике какие-то нахалы и веселились на наш счет. Они не слышали, что Жан рассказывает, и не понимали, что так гребет князь по рассказу графа, а думали, должно быть, что это Жан сам не умеет.

Чтобы поставить их на место, Жан велел мне спеть что-нибудь по-французски. Мне было неловко, и я отказывалась. Но в это время нас обогнала лодка. В ней сидела дама с офицером и имела такой гордый вид, точно она только что Порт-Артур сдала. Я не выдержала и запела: «Si tu m'aimais!»¹⁰. Офицер покосился на мой голос, а дама со злости повернула нос не в ту сторону, а ткнула нас рулем.

Мы выехали на Стрелку. Закат, как поется в романсе, «пылал бобровой полосой».

На самом горизонте, там, где небо целует землю, стояли три мужика и пили поочередно из бутылки.

Налево от ресторана несло свежераспустившимися почками. Нафталин относил в сторону. Преобладали табак и перец.

На обратном пути Васенька напоролся на крупную рыбу и потерял весло. Пришлось ставить лодочника на место, потому что он запросил за весло очень дорого.

Корявая палка, на которой я сидела, оказалась моим же собственным зонтиком, только сломанным пополам.

¹⁰ Если бы ты меня любила! (фр.)

У Жана раздавился котелок, а у Васеньки пропал без вести галстук.

Ехали назад опять на конке. Пассажиры смотрели на нас двусмысленно. Жан, чтобы поставить их на место и оправдать несвежесть наших костюмов, рассказывал о значении спорта в жизни великих людей и известных политических деятелей.

Нафталин и табак отсырели, стали острее, резче и навязчивее.

Забывший путь

Софья Ивановна подобрала платье и с новой энергией стала взбираться на насыпь. Каблуки скользили по траве, шляпа лезла на глаза, зонтик валился из рук. Наверху стоял железнодорожный сторож и развлекался, глядя на страдания молодой туристки. Каждый раз, поднимая глаза, встречалась Софья Ивановна с его равнодушно-любопытным взглядом и чувствовала, как взгляд этот парализует ее силы. Но все равно – отступать было поздно; большая часть пути пройдена, да и стоит ли обращать внимание на мужика, «qui ne comprend rien»¹¹, как говорилось в пансионе, где три года тому назад окончила она свое образование. Жаркое июльское солнце палило немилосердно. Софья Ивановна остановилась на минуту перевести дух и вытянула из-за пояса часики: уже четверть первого. К пяти вернется муж, а у нее еще и обед не заказан! Опять будет история! Она с грустью посмотрела на оборванное кружево юбки, тянувшееся за ней по траве, как большая раздавленная змея, и, вздохнув, собралась идти дальше, но при первом же ее движении свернутый зонтик, выскочив из рук, плавно пополз вниз по насыпи, пока не остановился, упершись в какую-то кочку. Софья Ивановна в отчаянии всплеснула руками. Ничего не поделаешь, нужно теперь вернуться за зонтиком!.. Однако спускаться оказалось еще труднее, чем подыматься; не успела она сделать и двух шагов, как потеряла равновесие и опустилась на траву. Зонтик был уже близко. Она попробовала достать его ногой, потянулась еще немножко вниз... «Ах!» – едва дотронулась кончиком башмака, как зонтик вздрогнул и, весело подпрыгивая, поскакал дальше. Софья Ивановна с ожесточением перевернулась лицом к траве и попыталась ползти на четвереньках.

Увидя этот новый способ передвижения, сторож вдруг исчез и вернулся через минуту с какой-то толстой бабой; оба нагнулись и молча, с тупым любопытством смотрели на Софью Ивановну; затем баба обернулась назад и стала манить к себе кого-то рукой...

Это уж чересчур! Быть посмешищем целой банды бездельников. Слезы выступили на глазах Софьи Ивановны.

Красная, растрепанная, злая, уселась она насколько могла удобнее и решила ждать.

«Ведь есть же у него какое-нибудь дело, – думала она, – не может же он весь день тут стоять. Увидит, что я сижу спокойно, и уйдет».

И она, приняв самую непринужденную позу, делала вид, что превосходно проводит время; любовалась природой, рвала одуванчики и даже стала напевать «Уста мои молчат». Через несколько минут, осторожно, скосив глаза, она взглянула наверх – «Нахал!».

Сторож не верил ее беззаботности и продолжал стоять все на том же месте, словно ожидая от нее чего-то особенного.

Напускная бодрость покинула Софью Ивановну. Она присмирела, закрыла лицо руками и стала нетерпеливо ждать.

– Божественная!.. – долетел до нее тягучий голос.

– Ах, нахал! – вздрогнула от негодования Софья Ивановна. – Он смеет еще заговаривать!

– Божественная! Я чувствовал ваше присутствие здесь... Меня влекло сюда!..

Нет, это не он – голос снизу. Софья Ивановна опустила руки: «Господи! Только этого не хватало! Опять проклятый декадент! Опять сцена от Петьки!»

Грациозно откинув длинноволосую голову, держа шляпу в горизонтально вытянутой руке, стоял у подножия насыпи маленький худощавый господин в клетчатом костюме, с развевающимися концами странного зеленого галстука, и не смотрел, а созерцал растерявшуюся Софью Ивановну.

¹¹ Который ничего не понимает (*фр.*).

– Я помешал вам мечтать, – загнусавил он снова. – Я поднимусь к вам! Мне так хочется подслушать ваши грезы!..

И, не дождавшись ответа, он взмахнул руками, с видом птицы, собравшейся взлететь, и стал быстро подниматься.

«Вот ведь влезают же люди, – с горечью думала Софья Ивановна, глядя на него, – почему же я такая несчастная!»

– У ваших ног лежат, синьора, И я, и жизнь, и честь, и меч! – продекламировал декадент, садясь у ее ног и восторженно глядя на нее белесоватыми глазками.

– Это ваше?

– Мм... Почти.

– Что это значит: «почти»?

– Значит, что это стихотворение Толстого, но я его переврал, – мечтательно отвечал тот. – О, как я рад, что мы снова вместе!.. Я хотел так много, так бесконечно много сказать вам...

– Очень приятно, только я тороплюсь домой.

– Странная манера торопиться, сидя на одном месте. И зачем вам домой?

– К пяти часам вернется Петр Игнатьевич...

– Кто вернется?

– Петр Игнатьевич.

– Петр Игнатьевич? – Декадент презрительно прищурил глаза. – Кто это такой, этот Петр Игнатьевич?

– Как кто? – обиженно удивилась Софья Ивановна. – Мой муж! Странно, что вы две недели тому назад были у нас в доме и не знаете, как зовут хозяина.

– Простите!.. Я рассеян... Я страдал... Но мы не будем говорить об этом, не расспрашивайте меня, я не хочу – слышите? – Он повелительно сдвинул брови и замолк на несколько минут, потом, видя, что Софья Ивановна все-таки не начинает расспрашивать «об этом», сказал тоном человека, искусственно меняющего тему разговора: – Итак... где же ваш муж?

– Он уехал с восьмичасовым в Контики; там сортируют вагоны или что-то в этом роде, не умею вам объяснить. А теперь помогите мне, ради бога, слезть отсюда, – прибавила она смущенно. – Я оттого и сижу здесь так долго, что никак не могу одна...

Декадент пришел в восторженное умиление.

– О! Как это женственно! Беспомощно-женственно. Дайте мне ваши руки, я донесу вас.

– Я не могу вам дать руки, потому что наступлю тогда на платье и упаду, – понимаете?

– Платье можно подколоть булавками. – И, к великому удивлению Софьи Ивановны, он, отвернув бортик своего клетчатого пиджака, вытащил несколько булавок, воткнутых в него.

– Какой вы странный! Зачем вы носите с собой булавки?

– Не спрашивайте... Это символ!..

Наконец платье подколото, декадент с безумным видом, схватив ее за обе руки и выставив вперед каблук своего желтенького башмачка, поскакал вниз. Софья Ивановна спотыкалась, падала, подымалась, отбивалась, вырывалась, – но он крепко впился в ее руки и выпустил их только тогда, когда она, испуганная и запыхавшаяся, стояла внизу и, не смея поднять голову, думала о стороже: «Видел или не видел?..»

– Какое блаженство, – шептал декадент, с трудом переводя дыхание и утирая лоб платком, – какое блаженство этот бешеный полет! Но скажите, как вы сюда попали? – прибавил он, подавая ей зонтик.

– Я думала, что скорее попаду домой, если пойду верхом. Я ходила в деревню узнать насчет телятины.

– Как вы сказали?

– Что как сказала?..

– Вы произнесли какое-то слово... – Он, мечтательно сощутив глаза, глядел на облако.

– Я сказала, что ходила за телятиной... Какой вы странный!

– Простите! Мне послышалось, что вы сказали что-то по-итальянски. Те-ля-ти-на... Те-ля-ти-на... – прошептал он.

– Хорошо же вы, должно быть, знаете итальянский язык...

– Я не могу знать его плохо. Понимаете? Не могу знать его плохо, потому что не знаю совсем.

Софья Ивановна замолчала и стала придумывать, как бы ей поделикатнее отвязаться от своего спутника. Ей очень не хотелось, чтобы их увидели вместе, так как бедный декадент был почему-то особенно несимпатичен ее ревнивому мужу. Петр Игнатьевич не ответил ему на визит и, когда встретил его с Софьей Ивановной на музыке в городском саду, немедленно увел жену домой и закатил ей сцену, какой, как говорится, и «старожилы не запомнят». После этой истории Софья Ивановна старательно избегала опасного поэта, терпеливо ожидая осени, когда он уберется к себе в Петербург. Мужа, положим, теперь на станции нет – он в Контиках, но все равно, ему насплетничают... А с другой стороны, нельзя же его прогнать сразу – все-таки человек услугу оказал. А и некрасив же он, голубчик, взглянула она искоса. Петух не петух... черт знает что!..

– Я знаю, о чем вы сейчас подумали, – прервал он ее мысли.

– О чем? – испугалась Софья Ивановна.

– Вы подумали о том, что жизнь наша бесцветна и тосклива... Зачем вы здесь живете? Разве вы не чувствуете, что созданы блистать в свете? – Софья Ивановна успокоилась.

– Действительно, скучно, но мужу обещали скоро большую станцию. Тогда будет веселее.

– Вы постоянно сводите разговор на мужа: это прямо какой-то «незримый червь»!

Софья Ивановна хотела обидеться, но мелькнувший вдали красный зонтик отвлек ее внимание.

– Ой, ой, ой! Ведь это Курина!.. Жена помощника! – Она стала торопливо приглаживать волосы, оправлять платье... – Ведь нужно же, как на грех... мерзкая сплетница! Перейдемте скорее на ту сторону полотна, на запасный путь, пока она нас не заметила.

Они быстро свернули налево и, перепрыгнув через проволоку семафора, приблизились к длинным рядам товарных вагонов, бесконечной цепью тянувшихся к станции, темная крыша которой выделялась тусклым пятном на сверкающей синеве южного неба.

– Скорей! Скорей! – торопила Софья Ивановна. – На крайний путь; там никого не встретим.

Тяжело гремя спущенными цепями, прошел мимо паровоз, обдав их целым клубом затхлого дыма, и, тревожно свистнув несколько раз, остановился. Стрелочник, помахивая красным флагом, вылез из-под вагона и, скосив глаза на Софью Ивановну, затрубил в рожок.

«Должно быть, он знает, кто я», – подумала Софья Ивановна и, как страус, втянула голову в плечи, закрываясь зонтиком.

Они обогнули первый ряд вагонов, пролезли между колесами второго, кое-как протискались между расцепленными буферами третьего и тут только вздохнули свободно, чувствуя себя в безопасности. Здесь не было ни души. Издали доносилась перекличка локомотивов да отвечающий им меланхолический рожок стрелочника. Порой, далеко за крышами вагонов, быстро проносилось гигантское облако белого пара, протяжный свист разрезал воздух, затем опять все стихало. Да, здесь никто не видит. Кругом одни вагоны.

Софья Ивановна обмахивалась платком, сдувая падавшие на глаза растрепанные волосы.

– Так вот этот забытый путь! – говорил декадент, глядя на поросшие травой рельсы, уставленные товарными вагонами, с открытыми, зияющими, как черные пасти, входами, с беспомощно повисшими цепями. – Забытый путь! Как это красиво звучит! В этом слове целая поэма.

Забывший путь!.. Я чувствую какое-то странное волнение, повторяя это слово... Я вдохновляюсь!.. – Он зажмурился, втянул щеки и открыл рот, как дети, когда они представляют покойника.

– Скажи когда-нибудь «забуди». Но никогда тебя я не забуду, Забывший путь!..

Он медленно открыл глаза.

– Я разработаю это в поэму и посвящу вам.

– Мерси. Только рифмы у вас не хватает.

– Так вам нужна рифма? О! Как это банально! Вам нравятся рифмы! Эти пошлые мешанки, ищущие себе подобных, гуляющие попарно. Я ненавижу их! Я заключаю свободную мысль в свободные формы, без граней, без мерок, без...

– Ах, боже мой!.. Смотрите, там идут! – прервала его Софья Ивановна, указывая на группу рабочих, шедших в их сторону. – И, кажется, Петин помощник с ними!.. Куда нам деться?!

– Спрячемся в пустой вагон и обождем, пока они уберутся, – предложил находчивый поэт.

– Я его не боюсь, – продолжала Софья Ивановна, топчась в волнении на одном месте, – только я такая растрепанная... и не могу же я ему объяснить при рабочих, что лезла на насыпь... Господи! Как это все глупо!

– Серьезно, самое лучшее – переждать в вагоне.

– Да как же я туда попаду? Тут и подножки нет.

– Позвольте, я подсажу вас. Только поторопитесь, а то они нас заметят.

Софья Ивановна кое-как влезла, оборвав окончательно кружевную оборку и запачкав платье обо что-то очень скверное. За нею следом вскочил и декадент, обнаружив необычайную ловкость и розовые чулочки с голубыми крапинками.

– Теперь встанем в тот угол. У, как здесь темно и прохладно. Все это напоминает мне милую, старую сказку... И жутко... и сладко.

– Ах, да замолчите же, они сейчас подойдут, – просила Софья Ивановна.

– Забывший путь! – не унимался декадент. – Но никогда тебя он не забудет. Забывший путь!

Он вдруг замолк, прижав палец к губам и таинственно приподняв брови. К вагону подошли: послышались шаги, голоса... Остановились около...

– Этот последний вагон, что ли?

«Помощник! Петин помощник! – думала Софья Ивановна, замирая от страха. – Господи! Как все это глупо! Зачем я сюда залезла!.. Ведь это совсем скандал, если нас увидят!»

– Отцепили? – спросил тот же голос.

– Го-то-во! – прокричал кто-то.

Дверь вагона,двигаемая чьей-то рукой, с грохотом захлопнулась... Тихо простонал рожок стрелочника, где-то недалеко отозвался свистком паровоз, и вдруг вагон, дрогнув, как от сильного толчка, весь заколыхался и, тихо покачиваясь, мерно застучал колесами.

– Господи, боже мой!.. Да что же это?.. – шептала Софья Ивановна. – Они, кажется, повезли нас куда-то?

– Да, мы как будто едем, – растерянно согласился поэт.

– Вероятно, наш вагон переводят на другой путь...

– Уж это вам лучше знать. Вы жена начальника станции, а я не обязан понимать этих маневров.

– Не злитесь, сейчас остановимся и вылезем, когда рабочие уйдут.

– И какая атмосфера ужасная! Грязь! Какие-то корки валяются, даже присесть некуда.

– Здесь, должно быть, перевозили собак!..

Колеса застучали ровнее и шибче, очевидно, поезд прибавлял ходу.

– Не могу понять, в какую сторону мы едем: к Лычевке или Контикам? – Голос Софьи Ивановны дрожал.

– Я сам не понимаю. Попробую немножко открыть дверь.

– Напрасно! Я слышала, как задвинули засов. – Декадент схватился за голову.

– Это, наконец, черт знает что такое! Нет! Я узнаю, куда они меня везут! – Он вынул из кармана перочинный ножик и стал сверлить в стене дырочку, но дерево было твердое и толстое, и попытка не дала никаких результатов. Тогда он присел и стал буравить пол. Тоже пользы мало. Он кинулся к стене и принялся за нее с другого конца.

– Ах! Да полно вам! – злилась Софья Ивановна. – Ну, что вы глупости делаете!.. Только раздражаете!

– Так это вас раздражает?! Благодарю покорно! – вскинулся на нее поэт. – Человек впутался из-за вас в глупейшую историю, а вы же еще и раздражаетесь.

– Как из-за меня? – возмутилась Софья Ивановна. – Кто посоветовал залезть в вагон? Я бы сама никогда такой глупости не придумала... идиотства такого...

– Вы, кажется, желаете ругаться? Предупреждаю вас, что совершенно не способен поддерживать разговор в таком тоне.

– А, тем лучше! Не желаю вовсе разговаривать с вами...

– Прекрасно! – Декадент помолчал минуту и затем стал обращаться непосредственно к богу: – Господи! – восклицал он, хватаясь за голову. – За что? За что мне такая пытка?! Разве я сделал что-нибудь дурное?

Софья Ивановна тихо стонала в своем углу.

– За что наказуешь? – взвыл декадент, решив, что к богу удобнее адресоваться по-славянски. – Наказуешь за что?!

Душно было в полутемном вагоне. Через пробитое под самой крышей маленькое окошечко, вернее, отдушину, слабо мерцал дневной свет, озаряя невеселую картину: Софья Ивановна, в позе самого безнадежного отчаяния, поникнув головой, беспомощно опустив руки, прижалась в уголок, с ненавистью следя за своим спутником.

Декадент метался, упрекал бога и сверлил вагон перочинным ножиком.

А поезд все мчался, все прибавлял ходу, весело гремя цепями, соединяющими звенья его гигантского тела, и не чувствовал, какая страшная драма разыгрывается в самых недрах его. Но вот колеса застучали глуше, толчки сделались сильнее и реже. Софья Ивановна заметила, как мимо окошечка проплыла большая розовая стена: подходили к станции. Загудел свисток паровоза; еще несколько толчков, и поезд остановился.

Софья Ивановна подошла к двери и стала прислушиваться. Декадент, вынув из кармана зеркальце и гребешок, приводил в порядок прическу.

«Вот идиот! Точно не все равно, в каком он виде будет вылезать из собачьего вагона!»

– Что же теперь прикажете делать? – спросил поэт таким тоном, словно все, что происходило, было придумано самой Софьей Ивановной и вполне от нее зависело.

– Нужно постучать... Господи, как все это глупо!.. Рабочие... смеяться будут... Все равно, я не могу дольше ехать... Я измучилась!.. – И она горько заплакала.

К вагону подходили.

– Мало что не поспеть! Ты торопись. Сейчас тронется! – проворчал кто-то за дверь.

Софья Ивановна робко стукнула и вдруг, набравшись смелости, отчаянно забарабанила руками и ногами.

– Ах, подлецы! – закричал странно знакомый голос. – Не выгрузивши свиней, отправлять вагон! Я вам покажу, мерррзавцы! Отворить!

Засов с грохотом отодвинулся.

– Петин голос!.. Петя!.. Господи, помоги! Скажу, что нарочно к нему... Заждалась с обедом... беспокоилась... Боже мой! Боже мой!

Тррах!.. Дверь открыта. Удивленные лица железнодорожных служащих... вытаращенные глаза Петра Игнатьевича...

Она забыла все, что приготовилась сказать, и, напряженно улыбаясь, со слезами на глазах, неожиданно для себя самой пролепетала: «Пора обедать!»

– Спасибо за сюрприз, – мрачно ответил муж, помогая ей слезть и пристально всматриваясь в темный угол вагона, где, затаив дыхание, неподвижно замер бедный декадент. Вдруг ноздри Петра Игнатьевича дрогнули, шея налилась кровью...

– Пломбу! – скомандовал он, обращаясь к кондуктору, и, собственноручно задвинув одним ударом сильной руки тяжелую дверь вагона, надписал на ней мелом: «В Харьков, через Москву и Житомир».

– Готово!

Приложили пломбу. Кондуктор свистнул, вскакивая на тормоз. Стукнули буфера, звякнули цепи, глухо зарокотали колеса. Поезд тронулся...

О, никогда тебя он не забудет. Забытый путь!..

Анна степановна

– Принесла вашу блюзочку, принесла. Хотела вам предложить на желудке рюшечку, да думаю, что вы не залюбите. Думала ли я когда-нибудь, что в портнихи угожу? Жизнь-то моя протекала совсем в других смыслах. Акушерские курсы, потом в госпитале. Н-да, немало медицины лизнула. Да ведь куда она здесь, медицина-то моя? Кому нужна? Смотришь, так профессора и те в цыганские хоры поступили. А иглой я всегда себя пропитаю. Вот вчера сдала платице – пальчики оближешь. Пуговица аккурат на аппендиците, на левой почке кант, и вся брюшина в сборку. Очень мило. Да смотрите – и ваша блюзочка, как говорится, совсем фантази. Вырез небольшой – только верхушечки легких затронуты. Купите себе шляпочку маленькую, так, чтобы как раз только серое вещество мозга закрывала. Очень модно. Сходите в галлею, там все есть, к Лафаету.

Разрешите присесть? Устала, как пес. По железе ехала... что? По щитовидной? Ой, что вы путаете, по Шан, по Шан железе, а там до бульвара Капустин пешком. А на Рояле в автобус села, смотрю, этот... Как его... Ну такой еще полный... да вы, впрочем, все равно не знаете. – Здравствуйте, говорит, Анна Степановна, как поживаете. Ведь эдакий, ей-богу! Как, говорит, поживаете. Обхохочешься с ним! Вечно что-нибудь эдакое! Ну одно можно сказать – талантливая шельма! Какие стихи шикарные пишет! Как это... вот дай бог памяти... да – «Россия, ты Россия»... нет, не так. «Родина моя Россия»... нет... «Россия, родина моя»... вот так как-то очень у него складно выходит, мне так не сказать. Вообще, способный малый. Из хлебного мякиша сковырял утку и в умывальник пустил. Дует на нее, а она плывет. Ведь эдакий черт! Уж такой не пропадет. Уж если заставит женщину страдать, так стоит того... Поясок широкий вышел? А тут я две пуговицы пришила, на какую сторону хотите, на ту и застегнете, хотите на печенку, хотите на селезенку – одинаково модно...

Была вчера в кинематографе – смерть люблю! Все какие-то ихние бега показывают. На груди номера нашиты, колени голые, и бегут. И чего бегут, и сами не знают. Умора! Ей-богу, обхохочешься. Завтра опять пойду. Кавалер один флегматичку прислал, что, мол, зайдет. Очень културный тип. Я, говорит, вашего языка боюсь, он, говорит, у вас как шило, что захочет, то и пришило. Он бывший этот... как его... бывший черт его знает кто. Очень културный. А уж аккуратный! Все у него по правилу. Спать, говорит, нужно ровно восемь часов, если какие часы за неделю недоспал, все подсчитает и потом в субботу доспит. Все, значит, сразу. Но только меня этими пустяками не возмешь. Не на таковскую напал. И не таких отшивала.

Был у нас в лазарете фершал. Тоже Иван Петровичем звали. Этого-то, кажется, Евгением зовут, ну да все равно, похоже. Так этот фершал вдруг говорит: «Что это вы, Светоносина, как вяленая муха ползаете». А я ему в ответ:

«Вяленая, да не с тобой». Так он даже удивился. «Ну, говорит, и отбрила! Другая, говорит, три года думать будет, такого не надумает!» А мне хоть бы что – повернулась да и пошла.

Ох, боже мой, да я и забыла, заслушалась вас... Просила вам передать эта самая... Как ее... ну эта, знаете, у которой муж-то... ну как его... у них еще в этом было... как раз против... как это называется-то, ну вот еще где... Как оно... ну как же вы не помните – еще напротив такой полный был – жилец, что ли, али свояк... на кумовой свояченице вторым браком, что ли... Ну как так не помните? А? Что передать-то? Да вот, дай бог памяти... не то кто-то приехал, не то вы куда-то... или что-то написать... как-то вроде этого что-то. Не могу точно вспомнить. Ну да вы потом разберетесь. Фамилию? Ну где же ее вспомнить-то? Так сразу ведь не вспомнишь. А вот когда не надо, так она тут как тут. Вот намереди весь день повторяла: «Анна Степановна да Анна Степановна». Привязалась ко мне, а что такое за «Анна Степановна» – и сама не знаю. Уж к вечеру только догадалась, что это я свое собственное имя весь день талдычу.

Ну до свиданья, заслушаешься вас, так и уйти не соберешься. А резервуар!

Публика

Швейцар частных коммерческих курсов должен был вечером отлучиться, чтобы узнать, не помер ли его дяденька, а поэтому бразды правления передал своему помощнику, и, передавая, наказывал строго:

– Вечером тут два зала отданы под частные лекции. Прошу относиться к делу внимательно, посетителей опрашивать, кто куда. Сиди на своем месте, снимай польты. Если на лекцию Киньгрустина, – пожалуйста направо, а если на лекцию Фермопилова, – пожалуйста налево. Кажется, дело простое.

Он говорил так умно и спокойно, что на минуту даже сам себя принял за директора.

– Вы меня слышите, Вавила?

Вавиле все это было обидно, и, по уходе швейцара, он долго изливал душу перед длинной пустой вешалкой.

– Вот, братец ты мой, – говорил он вешалке, – вот, братец ты мой, иди и протестуй. Он, конечно, швейцар, конечно, не нашего поля ягода. У него, конечно, и дяденька помер, и то, и се. А для нас с тобой нету ни празднику, ни буднику, ничего для нас нету. И не протестуй. Конечно, с другой стороны, ежели начнешь рассуждать, так ведь и у меня может дяденька помереть, опять-таки и у третьего, у Григорья, дворника, скажем, может тоже дяденька помереть. Да еще там у кого, у пятого, у десятого, у извозчика там у какого-нибудь... Отчего же? У извозчика, братец ты мой, тоже дяденька может помереть. Что ж извозчик, по-твоему, не человек, что ли? Так тоже нехорошо, – нужно справедливо рассуждать.

Он посмотрел на вешалку с презрением и укором, а она стояла, сконфуженно раскинув ручки, длинная и глупая.

– Теперь у меня, у другого, у третьего, у всего мира дядя помрут, так это, значит, что же? Вся Европа остановится, а мы будем по похоронам гулять? Нет, брат, так тоже не показано.

Он немножко помолчал и потом вдруг решительно вскочил с места.

– И зачем я должен у дверей сидеть? Чтоб мне от двери вторичный флюс на зуб надуло? Сиди сам, а я на ту сторону сяду.

Он передвинул стул к противоположной стене и успокоился.

Через десять минут стала собираться публика. Первыми пришли веселые студенты с барышнями:

– Где у вас тут лекция юмориста Киньгрустина?

– На лекцию Киньгрустина пожалуйста направо, – отвечал помощник швейцара тоном настоящего швейцара, так что получился директор во втором преломлении.

За веселыми студентами пришли мрачные студенты и курсистки с тетрадками.

– Лекция Фермопилова здесь?

– На лекцию Фермопилова пожалуйста налево, – отвечал дважды преломленный директор.

Вечер был удачный: обе аудитории оказались битком набитыми.

Пришедшие на юмористическую лекцию хохотали заранее, остряли, вспоминали смешные рассказы Киньгрустина.

– Ох, уморит он нас сегодня! Чувствую, что уморит.

– И что это он такое затеял: лекцию читать! Верно, пародия на ученую чепуху. Вот распотешит. Молодчина этот Киньгрустин!

Аудитория Фермопилова вела себя сосредоточенно, чинила карандаши, переговаривалась вполголоса:

– Вы не знаете, товарищ, он, кажется, будет читать о строении Земли?

– Ну конечно. Идете на лекцию и сами не знаете, что будете слушать! Удивляюсь!

– Он лектор хороший?

– Не знаю, он здесь в первый раз. Москва, говорят, обожает.

Лекторы вышли из своей комнатухи, где пили чай для освежения голоса, и направились каждый в нанятый им зал. Киньгрустин, плотный господин, в красном жилете, быстро взбежал на кафедру и, не давая публике опомниться, крикнул:

– Ну, вот и я!

– Какой он моложавый, этот Фермопилов, – зашептали курсистки. – А говорили, что старик.

– Знаете ли вы, господа, что такое теща? Нет, вы не знаете, господа, что такое теща!

– Что? Как он сказал? – зашептали курсистки. – Товарищ, вы не слышали?

– Н... не разобрал. Кажется, про какую-то тощу.

– Тошу?

– Ну да, тощу. Не понимаю, что вас удивляет! Ведь раз существует понятие о земной толще, то должно существовать понятие и о земной тоще.

– Так вот, господа, сегодняшнюю мою лекцию я хочу всецело посвятить серьезнейшему разбору тещи, как таковой, происхождению ее, историческому развитию и прослежу ее вместе с вами во всех ее эволюциях.

– Какая ясная мысль! – зашептала публика.

– Какая точность выражения.

Между тем в другом зале стоял дым коромыслом.

Когда на кафедру влез маленький, седенький старичок Фермопилов, публика встретила его громом аплодисментов и криками «ура».

– Молодчина, Киньгрустин. Валяй!

– Слушайте, чего же это он так постарел с прошлого года?

– Га-га-га! Да это он нарочно масленичным дедом вырядился! Ловко загримировался, молодчина!

– Милостивые государыни, – зашамкал старичок Фермопилов, – и милостивые государи!

– Шамкает! Шамкает! – прокатилось по всему залу. – Ох, уморил.

Старичок сконфузился, замолчал, начал что-то говорить, сбился и, чтобы успокоиться, вытащил из заднего кармана сюртука носовой платок и громко высморкался. Аудитория пришла в неистовый восторг.

– Видели? Видели, как он высморкался? Ха-ха-ха! Браво! Молодчина! Я вам говорил, что он уморит.

– Я хотел побеседовать с вами, – задребезжал лектор, – о вопросе, который не может не интересовать каждого живущего на планете, называемой Землею, а именно – о строении этой самой Земли.

– Ха-ха-ха! – покатывались слушатели. – Каждый, мол, интересуется. Ох-ха-ха-ха! Именно, каждый интересуется.

– Метко, подлец, подцепил!

– Нос-то какой себе соорудил – грушей!

– Ха-ха, – груша с малиновым наливом!

– Я попросил бы господ присутствующих быть потише, – запищал старичок. – Мне так трудно!

– Трудно! Ох, уморил! Давайте ему помогать!

– Итак, милостивые государыни и милостивые государи, – надрывался старичок, – наша сегодняшняя беседа...

– Ловко пародирует, шельма! Браво!

– Стойте! Изобразите лучше Пуришкевича!

– Да, да! Пусть, как будто Пуришкевич!

А в противоположном зале юморист Киньгрустин лез из кожи вон, желая вызвать улыбку хоть на одном из этих сосредоточенных благоговейных лиц. Он с завистью прислушивался к доносившемуся смеху и радостному гулу слушателей Фермопилова и думал:

«Ишь, мерзавец, старикашка! На вид ходячая панихида, а как развернулся. Да что он там, канканирует, что ли?»

Он откашлялся, сделал комическую гримасу ученого педанта и продолжал свою лекцию:

– Чтобы вы не подумали, милостивые государины и, в особенности, милостивые государи, что теща есть вид ископаемого или просто некая земная окаменелость, каковой предрасудок существовал многие века, я беру на себя смелость открыть вам, что теща есть не что иное, как, по выражению древних ученых, недоразумение в квадрате.

Он приостановился.

Курсистки старательно записывали что-то в тетрадку. Многие, нахмутив брови и впившись взором в лицо лектора, казалось, ловили каждое слово, и напряженная работа мысли придавала их физиономиям вдохновенный и гордый вид.

Как и на всех серьезных лекциях, из укромного уголка около двери несло тихое похрапывание с присвистом.

Киньгрустин совсем растерялся.

Он чувствовал, как перлы его остроумия ударяются об эти мрачные головы и отскакивают, как град от подоконника.

«Вот черти! – думал он в полном отчаянии. – Тут нужно сотню городских позвать, дворников триста человек, чтобы их, подлецов, щекотали. Извольте ли видеть. Я для них плох! Марка Твена им подавай за шестьдесят копеек!

Свиньи!»

Он совсем спутался, схватился за голову, извинился и убежал.

В передней стоял треск и грохот. Маленький старичок Фермопилов метался около вешалки и требовал свое пальто. Грохочущая публика хотела непременно его качать и орала:

– Браво, Киньгрустин! Браво!

Киньгрустин, несмотря на свою растерянность, спросил у одного из галдевших:

– Почему вы кричите про Киньгрустина?

– Да вот он, Киньгрустин, вон тот, заgrimированный старичком. Он нас прямо до обморока...

– Как он? – весь похолодел юморист. – Это я Киньгрустин. Это я... До обморока... Здесь ужасное недоразумение.

Когда недоразумение выяснилось, негодованию публики не было предела. Она кричала, что это наглость и мошенничество, что надо было ее предупредить, где юмористическая лекция, а где серьезная. Кричала, что это безобразие следует обличить в газетах, и в конце концов потребовала деньги обратно.

Денег ей не вернули, но натворившего беду помощника швейцара выгнали.

И поделом. Разве можно так поступать с публикой?!

Карьера Сципиона Африканского

Театральный рецензент заболел. Написал в редакцию, что вечером в театр идти не может, попросил аванс на поправление здоровья и обстоятельств, но билета не вернул.

А между тем рецензия о спектакле была необходима.

Послали к рецензенту, но посланный вернулся ни с чем. Больного вторые сутки не было дома.

Редактор заволновался. Как быть? Билеты все распроданы.

– Я напишу о спектакле, – сказал печальный и тихий голос.

Редактор обернулся и увидел, что голос принадлежит печальному хроникеру, с уныло-вопросительными бровями.

– Вы взяли билет?

– Нет. У меня нет билета. Но я напишу о спектакле.

– Да как же вы пойдете в театр без билета?

– Я в театр не пойду, – все так же печально отвечал хроникер, – но я напишу о спектакле.

Подумали, посоветовались и положились на хроникера и на кривую.

Через час рецензия была готова:

«Александрийский театр поставил неудачную новинку „Горе от ума“, написанную неким господином Грибоедовым. (Зачем брать псевдонимом такое известное имя?) Sic!..»¹²

– А ведь он ядовито пишет, – сказал редактор и продолжал чтение:

«Написана пьеса в стихах, что наша публика очень любит, и хотя полна прописной морали, но поставлена очень прилично (Sic!). Хотя многим здравомыслящим людям давно надоела фраза вроде „О, закрой свои бледные ноги“, как сочиняют наши декаденты. Не мешало бы некоторым актерам и актрисам потверже знать свои роли (Sic! Sic!)».

«А ведь и правда, – подумал редактор. – Очень не мешает актеру знать потверже свою роль. Какое меткое перо!»

«Из исполнителей отметим г-жу Савину, которая обнаружила очень симпатичное дарование и справилась со своей ролью с присущей ей миловидностью. Остальные все были на своих местах.

Автора вызывали после третьего действия. Sic! Sic! Transit!¹³

Сципион Африканский»

– Это что же? – удивился редактор на подпись.

– Мой псевдоним, – скромно опустил глаза печальный хроникер.

– У вас бойкое перо, – сказал редактор и задумался.

Наступили скверные времена. Наполнять газету было нечем. Наняли специального человека, который сидел, читал набранные статьи и подводил их под законы.

«Пять лет каторжных работ! Лишение всех прав! Высылка на родину! Штраф по усмотрению! Конфискация! Запрещение розничной продажи! Крепость!»

Слова эти гулко вылетали из редакторского кабинета, где сидел специальный человек, и наполняли ужасом редакцию.

Недописанные статьи летели в корзину, дописанные сжигались дрожащими руками.

Тогда Сципион Африканский пришел к растерянному редактору и грустно сказал:

– У вас нет материала, так я вам приведу жирафов.

– Что? – даже побледнел редактор.

– Я приведу вам в Петербург жирафов из Африки. Будет много статей.

¹² Так! (лат.)

¹³ Так! Так! Проходит! (лат.)

Недоумевающий редактор согласился. На другой же день в газете появилась интересная заметка о том, что одно высокопоставленное африканское лицо подарило одному высокопоставленному петербургскому лицу четырех жирафов, которых и приведут из Африки прямо в Петербург сухим путем. Где нельзя – там вплавь.

Жирафы тронулись в путь на другой же день. Путешествие было трудное. По дороге они хворали, и Сципион писал горячие статьи о способе лечения зверей и апеллировал к обществу покровительства животным. Потом написал сам себе письмо о том, что стыдно думать о скотах, когда народ голодает. Потом ответил сам себе очень резко и в конце концов так сам с собой сцепился, что пришлось вмешаться редактору, который боялся, что дело кончится дуэлью и скандалом. Еле уломали: Сципион согласился на третейский суд.

А жирафы между тем шли да шли. Где-то в Калькутте, куда они, очевидно, забрели по дороге, у них родились маленькие жирафята, и понадобилось сделать привал. Но природа, окружающая отдохавших путников, была так дивно хороша, что пришлось поместить несколько снимков из Ботанического сада. Кто-то из подписчиков выразил письменное удивление по поводу того, что в Калькутте леса растут в кадках, но редакция казнила его своим молчанием.

Жирафы были уже под Кавказом, где туземцы устраивали для них живописные празднества, когда редактор неожиданно призвал к себе Сципиона.

– Довольно жирафов, – сказал он. – Теперь начинается свобода печати. Займемся политикой. Жирафы не нужны.

– Господи! Куда же я теперь с ними денусь? – затосковал Сципион с таким видом, точно у него осталось на руках пятеро детей, мал мала меньше.

Но редактор был неумолим.

– Пусть сдохнут, – сказал он. – Мне какое дело.

И жирафы сдохли в Оренбурге, куда их зачем-то понесло.

Журналистов не пустили в Думу, и газета, в которой работал Сципион, осталась без «кулуаров».

Настроение было унылое.

Сципион писал сам себе телеграммы из Лондона, Парижа и Берлина, где сообщал самые потрясающие известия, и в следующем номере, проверив, красноречиво опровергал их.

А кулуары все-таки были нужны.

– Сципион Африканский, – взмолился редактор. – Может быть, вы как-нибудь сможете...

– Ну, разумеется, могу. Что кулуары – волк, что ли? Очень могу.

На следующий же день появились в газете «кулуары».

«Прекрасная зала екатерининских времен, где некогда гулял сам светлейший повелитель Тавриды, оглашается теперь зрелищем народных представителей.

Вот идет П. Н. Милюков.

– Здравствуй, Павел Николаевич! – говорит ему молодой, симпатичный кадет.

– Здравствуй! Здравствуй! – приветливо отвечает ему лидер партии народной свободы и пожимает его правую руку своей правой рукой.

А вот и Ф. И. Родичев. Его высокая фигура видна еще издали. Он весело разговаривает со своим собеседником. До нас долетают слова:

– Так вы еще не завтракали?..

– Нет, Федор Измаилович, еще не успел.

Едва успели мы занести это в свою книжку, как уже наталкиваемся на еврейскую группу.

– Ну что, вы все еще против погромов?

– Безусловно, против, – отвечает, улыбаясь, группа и проходит дальше.

Ожидается бурное заседание, и Маклаков (Василий Алексеевич), видный брюнет, потирает руки.

После краткой беседы с социал-демократами мы вынесли убеждение, что они бесповоротно примкнули к партии с-д.

Вот раздалась звонкая польская речь, это беседуют между собой два представителя польской группы.

В глубине залы, у колонн, стоит Гучков.

– Какого вы мнения, Александр Иванович, о блоке с кадетами?

Гучков улыбается и делает неопределенный жест.

У входа в кулуары два крестьянина горячо толкуют об аграрной реформе.

В буфете, у стойки, закусывает селедкой Пуришкевич, который принадлежит к крайним правым.

„Нонича, теперича, тас-тас“, – говорят мужички в кулуарах.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.